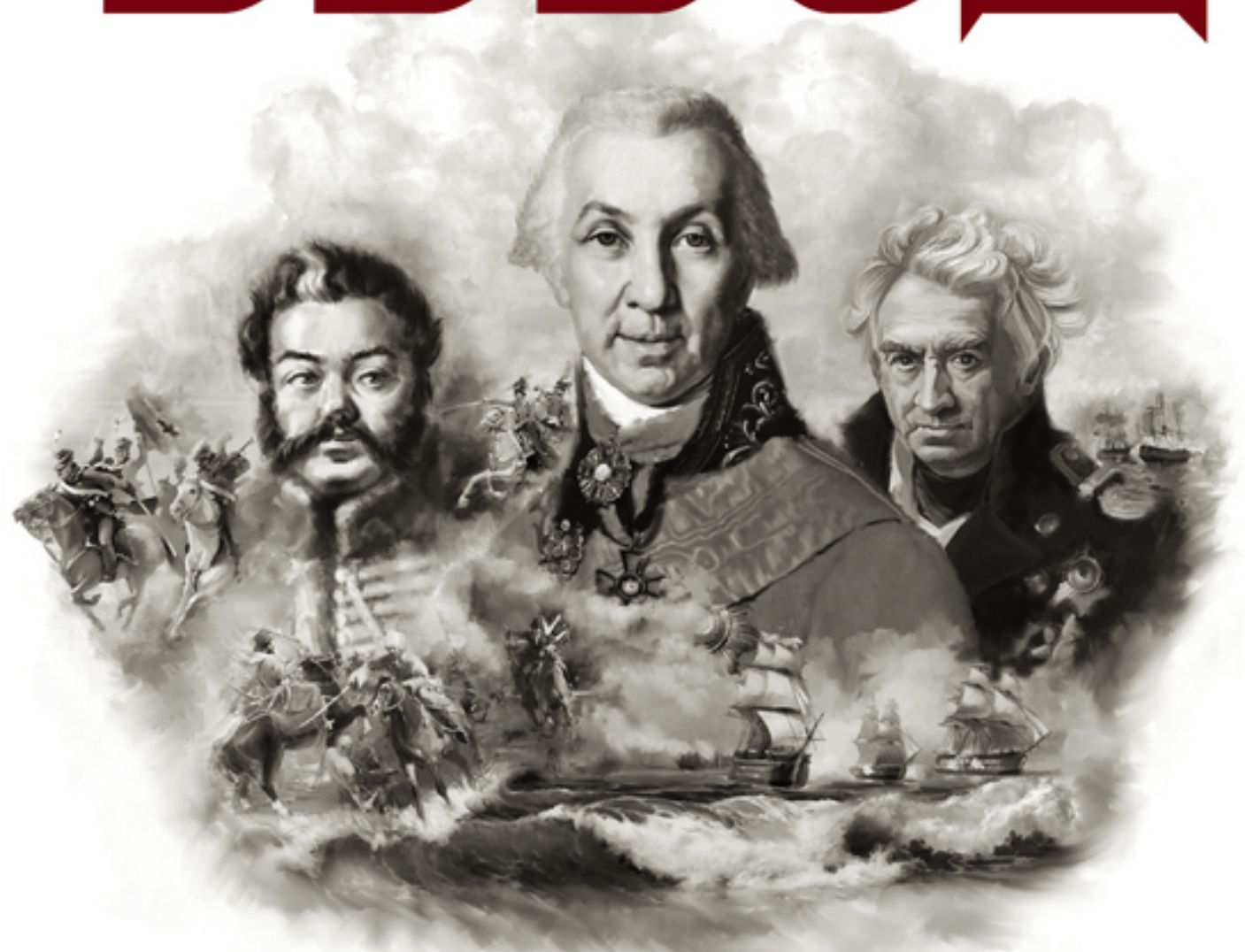


ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ВЗВОД



**ОФИЦЕРЫ И ОПОЛЧЕНЦЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Захар Прилепин

**Взвод. Офицеры и ополченцы
русской литературы**

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)

Прилепин З.

Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы /
З. Прилепин — «АСТ», 2017

ISBN 978-5-17-100820-8

В новую книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» вошли одиннадцать биографий писателей и поэтов Золотого века – от Державина и Дениса Давыдова до Чаадаева и Пушкина, – умевших держать в руке не только перо, но и оружие. Они сражались на Бородинском поле в 1812-м и вступали победителями в Париж, подавляли пугачёвский бунт и восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали служить на Кавказ... Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, полковник, генерал-лейтенант, адмирал: классики русской литературы.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-17-100820-8

© Прилепин З., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Предисловие	5
«С нами Бог, с нами; чтите все росса»	10
«Брань кровавую спокойным мерил оком»	45
«О, ринь меня на бой»	74
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Захар Прилепин

Офицеры и ополченцы русской литературы

Предисловие Различимые силуэты

Ещё полвека назад они были близко.

Писавший о людях Золотого века вглядывался в склянку тёмного стекла из-под импортного пива – и вдруг, как ему казалось, начинал различать людей и ситуации.

Державина мохнатые брови, глаза его стариковские и подслеповатые. Шишков сжимает строгий рот. Давыдов не хочет, чтоб его рисовали в профиль – нос маленький. Потом смотрится в зеркало: да нет, ничего. Глинка печально глядит в окно; за окном – тверская ссылка. Батюшков пугается один в тёмной комнате, резко выбегает в зал, еле освещаемый двумя моргающими свечами, шёпотом зовёт собаку – если собака придёт, значит... что-то это значит, главное – вспомнить её имя. Эй, как тебя. Ахилл? Пожалуйста, Ахи-и-ил. Пытается свистеть, кривит губы – забыл как. Вернее сказать, никогда не умел. Катенин наливает полстакана, потом, так и держа бутылку наперевес, задумывается и, спустя миг, быстро доликает всклень. Вяземский с трудом сдерживает ухмылку. Вдруг выясняется, что у него ужасно болит сердце. Он сдерживает ухмылку, потому что, если засмеётся в голос, – упадёт от боли в обморок. Чаадаев скучает, но он уже придумал остроу и лишь ждёт удобного момента, чтоб устало её произнести. Раевский злится и беспокоен. Играет желваками. Всё внутри у него клокочет. Несносные люди, несносные времена! Бестужев разглядывает дам. Дамы разглядывают Бестужева: Вера, я тебя уверяю, это же тот самый Марлинский.

Наконец, Пушкин.

Пушкин верхом, Пушкина не догнать.

Склянка тёмного стекла, спасибо тебе.

Им было проще, жившим тогда, в середине прошлого века: Булату, Натану или, скажем, Эмилю – кажется, кого-то из них звали Эмиль, их всех звали редкими именами. Золотой век они описывали так, словно рисовали тишайшими, плывущими красками: всюду чудился намёк, мелькало что-то белое, бледное за кустами.

Обитатели Золотого века, согласно этим описаниям, ненавидели и презирали тиранов и тиранию. Но только нелепые цензоры могли подумать, что речь идёт о тирании и тиранах. Разговор шёл о чём-то другом, более близком, более отвратительном.

Если вслушиваться в медленный ток романов о Золотом веке, можно различить журчание тайной речи, понятной только избранным. Булат подмигивал Натану. Натан подмигивал Булату. Остальные просто моргали.

Но в итоге многое оставалось будто бы неясным, недоговоренным.

Блестящие поручики отправлялись на Кавказ – но что всё-таки они там делали? Да, вели себя рискованно, словно кому-то назло. Но кто в них стрелял, в кого стреляли они? Что это за горцы такие? С какой они горы?

С кавказской горы горцы – опасные люди. Михаил Юрьевич, вы бы пригнулись. Не ровен час в Льва Николаевича попадут.

Иногда поручики воевали с турками, но зачем, отчего, с какой целью – снова никто не понимал. Что, в конце концов, им было нужно от турок? Наверное, турки первые начали.

Или, скажем, финны – чего они хотели от финнов, эти поручики? Или – от шведов?

А если, не приведи Господь, поручик попадал в Польшу и давил, как цветок, очередной польский бунт – об этом вообще не было принято говорить. Поручик наверняка попадал туда случайно. Он не хотел, но ему приказали, на него топали ногами: «А может, тебя, поручик, отправить во глубину сибирских руд?» – кажется, вот так кричали.

Авторы жизнеописаний поручиков щедро делились со своими героями мыслями, чаяниями и надеждами. Ведь авторы были искренно убеждены, что мысли, чаяния и надежды у них общие, будто и не прошло полтора века. Иногда даже могли сочинить вместе с ними (а то и за них) стихотворение: какая разница, когда всё так близко.

А что – рукой же подать: авторы жизнеописаний родились, когда ещё был жив Андрей Белый, а то и Саша Чёрный. Ахматову и подавно видели своими глазами. А ведь от Ахматовой полшага до Анненского, и ещё полшага до Тютчева, а вот уже и Пушкин показался. Два-три рукопожатия.

К склянке тёмного стекла свою согретую рукопожатием ладонь прижал: пока тепло её таяло, успел разглядеть линии других рук. А если к ней ухо приложить? Там кто-то смеётся; или плачет; а вот и слова стали разборчивы...

Сейчас, в наши дни, одному руку сожмёшь, другому – ничего не чувствуешь: даже от Льва Николаевича не слышны приветы – куда там к Александру Сергеевичу или Гавриле Романовичу дотянуться.

Для нас живые, свойские – Маяковский, Есенин, Пастернак: та же смуть, те же страсти, тот же невроз. Не жалею, не зову, не плачу, свеча горела на столе, ведь это кому-нибудь нужно. Они нашими словами говорили, ничем от нас не отличались: дай обниму тебя, Сергей Александрович; дайте лапу вашу сжать, Владимир Владимирович; ах, Борис Леонидович, как же так.

Серебряный век – ещё близкий, Золотой – почти недостижимый.

Для путешествия в Золотой век склянка тёмного стекла нынче уже не подходит. Вертишь её в руках, крутишь, трёшь – тишина. Да и жил ли там кто в ней?!

На Золотой век надо долго настраивать разноглазый радиоприёмник, вслушиваться в дальний, как с другой звезды, шип, треск, трепетанье.

Вдруг различить прерывающийся голос: «...склоняся на щиты... стоят кругом костров... зажжённых в поле брани... простёр... на арфу... длани...»

С кем это? О ком? Кому?

Разглядывая Золотой век, приходится наводить в его сторону длинную, как каланча, загибающуюся подзорную трубу. До зуда во лбу всматриваешься в сочетание звёзд, поначалу кажущееся спонтанным, случайным, рассыпанным.

...А потом вдруг различаешь анфас, посадку головы, руку.

В той руке – пистолет.

Державин невольно зажмурился, ожидая выстрела, но пушка всё равно ударила неожиданно; он вздрогнул и тут же раскрыл глаза. Все вокруг закричали: «Атамана... их атамана убили!.. сволочь побежала!»

Шишков ехал в повозке вдоль стены, выложенной из заледеневших трупов. Стена не кончалась. Мысленно он прикидывал: вот эта, забыл как, улочка, ведущая к Неве, – она же короче? Нет, точно короче.

Давыдов привстал на стременах, выискивая взглядом Наполеона. Он однажды встретился с ним глазами – в день заключения Тильзитского мира. Но то был совсем другой случай, тогда Давыдов и помышлять не мог, что может увидеть его так – будучи на коне, с саблей наголо, во главе отряда головорезов, получивших приказ «С пленными не возиться, детушки мои».

Глинка удивлялся сам себе: в детстве его мог до ужасного сердцебиения напугать внезапно налетевший шмель. Теперь, минуя неприятельские позиции, он даже коня прищипоривает.

вал без остервенения, жалел – при том, что по Глинке сейчас били даже не ружейным огнём – попасть в скачущего всадника из ружья не так просто, – а картечью.

Некоторое время Батюшков думал, что он умер и погребён. И его разрывают, чтобы переложить надёжней, удобней. И землю не роют, а будто бы сносят, стягивают слипшимися тяжёлыми пластами. Наконец, догадался, что лежал под несколькими трупами, заваленный. Когда Батюшкова подняли на руки, он успел увидеть одного из придавивших его: тот лежал на боку со странным лицом – одна половина лица была невозмутима и даже умиротворённа, другая – чудовищно искривлена.

Катенин смотрел в спину своему знакомому – в своё время блестящему офицеру, теперь разжалованному в рядовые. Его Катенин когда-то хотел убить на дуэли. Теперь тот, не пугаясь выстрелов, высокий, на голову выше Катенина, побежал вперёд с ружьём наперевес. Катенин подумал: «А может, застрелить его?» – но эта мысль была несерьёзной, злой, усталой. Катенин сплюнул и поднял своих в атаку. Чего лежать-то: холодно, в конце концов...

Вяземский вслушивался в грохот сражения и с удивлением думал: а ведь есть люди, которые, в отличие от меня, слыша этот грохот, понимают, из чего и куда стреляют, и для них всё это столь же ясно, как для меня – строение строф и звучание рифм. Но ведь это невозможно: «... этот грохот лишён какой бы то ни было гармонии!» – и вслушивался снова.

«Всё-таки тяжёлая эта пика...» – отстранённо, как не о себе, решил Чаадаев, и в тот же миг отчётливо увидел – хотя, казалось бы, не должен был успеть, – что человек, получивший удар пикой в грудь, был явственно озадачен. Мысль, мелькнувшая в его лице, могла быть прочитана примерно следующим образом: «...о, что же это со мной, отчего больше нет земли под ногами, и почему такой долгий полёт? Такой приятный, и только совсем чуть-чуть неудобный из-за острой тяжести в груди, полёт...» Лошадь Чаадаева пронеслась мимо. Пика стояла горизонтально, как дерево, готовое распусться. Был март.

Артиллеристы Раевского выкатили орудие на дорогу, он побежал в близкий перелесок – помочь выкатить второе, и вдруг увидел вдалеке, на той же дороге, целую толпу неприятелей. Они тоже увидели его. Надо было понять: тащить ли второе орудие, или вернуться к первому. Среди неприятелей виднелось несколько конных. Успеют, нет? «Заряжай!» – закричал он, оглянувшись к своим ребятам. Напугавшись крика, взлетела птица с ветки. Раевский побежал к орудию, чертыхаясь и едва не падая. Было какое-то удивительное и странное чувство, что эта птица и была его голосом... и сейчас его голос улетел. А как он отдаст следующую команду?

Продираясь сквозь заросли, Бестужев-Марлинский поймал себя на том, что в который раз точно знает, откуда вот-вот прозвучит выстрел, через сколько шагов он достигнет последнего из отступавших и заколет его ударом штыка, и ещё что слева, на дереве, удобно сидит стрелок. Сейчас стрелок прицелится в Бестужева... и промахнётся. «А следом я выстрелю, и попаду», – не молниеносным ощущением, а отдельными, спокойными словами сообщил себе Бестужев. Прицелился, выстрелил, попал.

...И Пушкин, конечно. Пушкин верхом. Пушкина не догнать.

У нас возникло тайное ощущение, что всех этих людей никогда не было: потому что кто так может жить – с войны на войну, с дуэли на дуэль.

Нет, так не могло быть, всё это – придуманные персонажи какого-нибудь древнего, слепого, полумифического сочинителя поэм: разве в них можно поверить?

Сейчас так никто не делает; по крайней мере – из числа пишущих.

Тем не менее, они жили – настоящие, истекавшие кровью, болевшие, страдавшие, пугавшиеся раны, плена, гибели.

Их мир не был чёрно-белым, выцветшим, осыпающимся. Нет, он тоже имел цвета и краски.

Пушкин был светлокожий, с годами русевший волосом всё более. Пока был тёмный – смеялся куда заразительней. Чем больше русел, тем меньше улыбался.

Вяземский не искал карьеры, но она его настигала; дураки обвиняли его в том, что он куплен государем, на то они и дураки – едва ли в России был человек, которому было так мало дела до всей этой суеты.

Чаадаев, кажется, в Польше имел дело с проституткой: ушёл, пожав плечами. Это показалось нелепым и бессмысленным – что-то вроде дуэлей, которых, впрочем, он не пугался, как и смерти вообще. Путешествия очень скоро приелись; вино – тем более. По здравом размышлении в конце концов оставались: он сам, Родина, Бог. Тасовать эти карты, только эти карты тасовать.

Раевский изменился характером, когда оставил юношескую привычку выпячивать челюсть, что делало его некрасивым. Но перестал выпячивать – и что-то потухло в глазах. Старший его сын ещё помнил отца с таким лицом, словно тот пугает кого-то или играет с кем-то, а младшие – уже нет.

Бестужев был ласкун, мать его обожала, могла прижать к себе и гладить по голове, ему нравилось. Такой ласковый, что вообще не должен был бы воевать. Но у Бестужева имелась одна аномалия: он был лишён чувства страха. То, что другие преодолевали, он проходил сквозь. Потом уже, болея всем подряд, Бестужев закусывал руку от желудочных болей и рычал: к чёрту бы это всё, к чёрту, – совсем не страшно, но ужасно колет в животе.

У Катенина сложилось так: он куда больше думал о культуре, о театре, о поэзии, чем о себе. Но мир настолько не отвечал ему взаимностью, что о чём бы он ни говорил – всегда получалось, что о себе, о своём раздражении. Это многим не нравилось, но не Пушкину. Пушкин всё понимал в Катенине. На свете так и не родился человек, который мог бы оценить Катенина в той же мере, как Пушкин.

Батюшков боялся спать и, когда просыпался, ещё не открыв глаза, проверял состояние своего рассудка, называя предметы, стоящие в комнате, и вспоминая их местоположение. Всё время забывал один подсвечник, в самом углу, совершенно там не нужный.

Глинка всерьёз считал, что сны его столь же полноценны, как реальность. Нет, с какого-то дня они стали даже более полноценны. Он написал о них больше, чем о тюрьме.

Давыдов был на редкость здравомыслящий человек – один из самых здравомыслящих и спокойных людей в русской литературе. Денис Васильевич и стихи писал редко в силу своего умственного здоровья: зачем? ну, будет ещё один стишок – я же в позапрошлом году написал два, куда столько... Сейчас бы в атаку, конную, неожиданную – вот забава была бы по душе.

Шишкову смертоубийство казалось чудовищным и невозможным; куда лучше есть себе конфеты, или, к примеру, изюм. Но Отечество? Отечество казалось ему живым до такой степени, что хотелось напоить его горячим молоком, укутать, спрятать. Чувство к матери, которую так редко видел и так видеть хотел, наложилось на чувство патриотическое.

А Державин? Державин к себе относился хорошо, потому что знал себе цену. Погибнуть на войне – это было с его точки зрения неразумным расходом человеческого материала.

В какой-то момент – наверное, это ещё в Преображенском полку было – он с удивлением обратил внимание, что все люди вокруг него – глупей его. Не то чтоб они вообще глупы, но их мотивации и поступки чаще всего предсказуемы. Это его удивило, но не очень сильно: быстро привык.

Он не был амбициозен. Просто знал, что достоин очень многого.

Державин не был из тех, кто искренне верит, что говорит с Богами. Он был первым в противоположном смысле: осознавшим немислимую огромность расстояния до Бога. Однако надежды загнать это расстояние в строку не оставлял.

Ещё он оказался одним из первых в нашей поэзии, кто точно знал вес, цену русских слов и, кажется, даже их цвет. Это были не просто слова с их значениями – в их звучании таилась незримая сила, их неожиданные сочетания высекали искры. Державин строил речь и вёл её, заставляя вверенные ему слова гроыхать, вскрикивать, издавать писк, маршировать, петь хором, размахивать знамёнами.

По сути своей Державин не был военным, но смысл войны понимал на уровне не только политическом, но и музыкальном.

...Ещё он с годами стал прижимист, полюбил говорить о себе, своих достоинствах. Так и слушал бы, как его хвалят, так и слушал бы.

Все они, все были просто людьми. Можно набраться смелости и позвать их в гости.

Державин топает в прихожей, сбивая снег. Шишков подъехал к соседнему кварталу и решил оттуда пройти пешком. Давыдов видит шампанское и чувствует себя отлично. Глинка всем рад. Батюшков уже хочет уйти. Катенин вообще не придёт, пока здесь Вяземский. Вяземский никак не решит, чего в нём больше: раздражения на Давыдова или любви к этому невозможному, светлому, бесстрашному человеку. Чаадаев сказался больным. Раевский далеко, но прислал подробное письмо. Бестужев ещё дальше, но тоже пишет.

Наконец, Пушкин.

Скоро явится Пушкин.

«С нами Бог, с нами; чтите все росса» Поручик Гаврила Державин



О росс! О род великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполин, царю послушный!
Когда и где ты досягнуть
Не мог тебя достойной славы?
Твои труды – тебе забавы;
Твои венцы – вокруг блеск громов;
В полях ли брань – ты тмишь свод звездный,
В морях ли бой – ты пенишь бездны, —
Везде ты страх своих врагов.

<...>

Как воды, с гор весной в долину
Низвержась, пенятся, режут,
Волнами, льдом трясут плотину,
К твердыням россы так текут.
Ничто им путь не воспящает;
Смертей ли бледных полк встречает,
Иль ад скрежещет зевом к ним, —
Идут – как в тучах скрыты громы,
Как двигнуты безмолвны холмы,
Под ними стон, за ними – дым.

Стихи – державинские.

Гаврила Романович Державин – десять лет в солдатах, и ещё четыре года – в офицерах. Такие здравицы произнося, понимал, о ком вёл речь, и сам за себя мог выпить, договорив.

Державин – равно как Денис Давыдов и, согласно семейным преданиям, Константин Батюшков, а также Александр Суворов и Михаил Кутузов, – происходил из татарского рода.

Фраза «Потри русского – обнаружишь татарина» не имеет никакого отношения к простонародью. Славянские полонянки, которых увозили в Орду, – рожали татарчат. Скорей уж ордынские народы стоит потерять на предмет обнаружения славянских кровей. «Потри татарина – обнаружишь русского» – так эта фраза вполне может звучать тоже.

А досужее предложение потерять русского, дабы обнаружить татарина, родилось, скорее всего, в связи с обрусением многочисленных знатных ордынских родов, пополнивших русскую аристократию. То есть, по сути, ничего унижительного для русского человека в этой поговорке нет, потому что смысл её примерно такой: потрёшь иного русского дворянина – обнаружишь татарина, когда-то пришедшего служить русскому царю. Юсуповы, Шереметевы, Ростопчины – всё это потомки мурз.

Впрочем, сколько ни разглядывай портреты Державина – ничего татарского там не обнаруживается. Видимо, стёрлось за столетия службы.

Между тем, сам он часто называл себя «мурзой». Из его стихов:

Я пел, пою и петь их буду
И в шутках правду возведу;
Татарски песни из-под спуду,
Как луч, потомству сообщу.

То, чем Блок впоследствии будет пугать (скифия и азиатчина в русском характере), у Державина присутствовало пока ещё в ироническом контексте. Но шутки эти имели генеалогические обоснования.

Давнего его предка – мурзу Брагима – действительно крестил князь Василий II Тёмный. В крещении Брагим стал Илией, получив вотчины под Владимиром, Новгородом и Нижним Новгородом. От сыновей Брагима произошли разные фамилии, в том числе Нарбековы. У одного из Нарбековых был сын по прозвищу Держава. От него пошли Державины.

«Земли, однако ж, дробились между наследниками, – пишет Владислав Ходасевич в книге «Державин», – распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков».

Рождѣнный 3 июля 1743 года Гаврила Романович Державин был наречѣн в честь архангела Гавриила, празднуемого 13 июля. Место рождения: Казанский уезд, деревня то ли Кармачи, то ли Сокуры; сам считал, чтоб не мелочиться, родным городом – Казань. Мурза ж!

О себе Державин пишет: «В младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному, должно было его запекать в хлебе». (в силу того что жизнь свою он прожил здоровым, трёхжильным человеком, видимо, всё-таки запекли: хотелось бы на это моргающее мучное изделие взглянуть.)

Читать выучился в четыре года; скоро овладел немецким (ас французским так и не справился за всю жизнь); очень любил рисовать – с особой страстью изображая, по собственному признанию, русских богатырей.

Всё детство протаскался за отцом по военным гарнизонам (Яранск, Вятка, Ставрополь-на-Волге, Оренбург); с тех пор служивая жизнь его не пугала. Но и не скажем, что он к ней сильно стремился.

Отец поэта в отставку вышел подполковником, и через год умер. У матери, Фёклы Андреевны (тоже дочери военного), осталось на руках трое детей, одиннадцатилетний Гаврила – старший.

Жили скудно; 15 рублей долга, оставшихся по смерти отца, выплатить первое время было совершенно невозможно; много судились с алчными и заглядущими соседями. Крепостных имела семья – десять душ.

Учился Гаврила в Казанской гимназии. По многим предметам (кроме математики) был одним из лучших учеников; университетская газета писала о нём. Там же произошло обескураживающее, покорившее слух и разум, знакомство с русскими пиитами: большеголовый Ломоносов («Шумит с ручьями бор и дол: / “Победа, русская победа!” / Но враг, что от меча ушёл, / Боится собственного следа»), следом породистый Сумароков («Разверзлось огненное море, / Дрожит земля и стонет твердь, / В полках срацинских страх и горе, / Кипящая ярость, казнь и смерть. / Минерва русская грома мещет, / Стамбул во ужасе трепещет»), – с таких од начиналась наша поэзия.

Поэтическое русское слово (мы говорим, конечно, о светской поэзии) возникло не как лирическое журчание, а как победный – в честь ратной, наступательной, победительной славы – салют.

Из гимназии в 1762 году, в возрасте восемнадцати лет, Державин был переведён в Преображенский полк, в Санкт-Петербург, рядовым. Служил вместе с рекрутами, набранными из крепостных, и жил, по бедности, в одной казарме с солдатами (три женатых и два холостых, считает важным упомянуть Державин в своей автобиографии).

Ходасевич: «Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый тёмно-зелёный с золотыми петлицами мундир голштинского образца; из-под мундира виднелся жёлтый камзол; штаны тоже жёлтые; на голове – пудрёный парик с толстой косой, загнутой кверху; над ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой».

Сам Державин: «Странный наряд казался весьма чудесным, так что обращал на себя глаза глупых».

Далее он из ложной скромности пишет о себе в третьем лице: «...приказано было флигельману учить ружейным приёмам и фрунтовой службе... по ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и марал стихи без всяких правил, что, однако, сколько ни скрывал, но не мог утаить от компаньонов (*имеется в виду: однопольчан. – З.П.*), а паче от их жён; почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревни».

(Нравы в российской армии не меняются, как мы видим, столетиями.)

Уважение к Державину в солдатской среде было высоко настолько, что, когда слуга его однопольчанина украл державинские деньги, преобразенцы «бросились по всем дорогам и скоро поймали вора, который на покупку кибитки и лошадей успел несколько истратить денег».

Но только в солдатской среде. Офицеры его за равню принимать никак не могли.

К тому времени относится забавный случай: выполняя должность вестового, зашёл рядовой преобразенец Державин к своему сослуживцу, князю и поэту Фёдору Козловскому, которого в то время ставил даже выше Тредиаковского и Ломоносова. Козловский как раз читал вслух сочинителю Василию Майкову свою трагедию. Естественно, Державин остановился в дверях послушать, на что Козловский, досадливо сморщившись, сказал: «Братец, поди, всё равно ничего не смыслишь!».

Случай этот Державин не забыл и Майкову потом, войдя в славу, припомнил; тот был сконфужен. Напомнил бы и Козловскому – но он погиб в Чесменском бою во время очередной русско – турецкой.

28 июня 1762 года был низложен император Пётр III, и на престол взошла императрица Екатерина II.

В мае 1763 года Державин получает первый чин: капрал.

Едет в отпуск в Казань, там заводит интрижку с одной легко-нравной девицей – между прочим, любовницей бывшего директора Казанской гимназии, где учился Державин. Директор жил в одной квартире с женой и любовницей; а тут и двадцатилетний Гаврила ещё! Декамерон по-казански.

Девушка была столь очаровательна, что помнил её Державин целую жизнь, но, как сам признаётся, «...при том как должен был по приказанию матери ехать в Шацк... то сии кратковременные шашни тем и кончились: ибо более никогда уже не видал сего своего предмета».

В дороге случилось другое приключение: сломалась ось у повозки, «приказал переделывать оную», отправился погулять и, «перешед маленький кустарник, увидел вдруг стадо диких... кабанов с маленькими поросятами. Боров матёрый, черношёрстый, усмотря его, тотчас от табуна отделился. Глаза его как горящие угли заблистали, щетина на гриве дыбом поднялась, и из пасти белая пена потекла струёю».

Кабан сорвался с места и сшиб Державина с ног: такой зверь может запросто убить человека. Державин успел вскочить, с собою у него, на счастье, было ружьё, и он выстрелил, предотвратив вторую атаку. Стрелял мелкой утиной дробью, но зато попал в сердце.

«Тогда же сам, – пишет Державин, – почувствовав слабость, упал и взглянул на левую ногу, увидел икру, почти совсем от берца оторванную, и кровь, ручьём текущую».

«Нельзя в сём случае не признать чудесного покровительства Божия», – резюмирует Державин и перечисляет, почему так думает: и первая рана, нанесённая кабаном, была не такой страшной – поэтому смог подняться, и ружьё выстрелило, и попал прямо в сердце.

Вернувшись в Санкт-Петербург, он переселяется в офицерские казармы для младших командиров; в 1767 году получает сержанта.

Начинается традиционная офицерская жизнь: разгул, девки, эпиграммы, кутежи, манеж, стрельба... И стихи – Державин пишет много стихов; в том числе, как сам признаётся, «непристойных». Вина не пьёт вовсе, но понемногу начинает поигрывать в карты.

Державин в эти годы одержим желанием попасть на какую-нибудь войну. Он знает, что подняться по иерархической лестнице он может, лишь свершая героические поступки.

В 1768 году начались масштабные боевые действия в Польше: конфедераты выступили против короля, поддерживаемого Россией. Из нынешнего времени наверняка многим покажется, что Россия терзала ни в чём не повинную Польшу, но ситуация ровно обратная: императрица Екатерина умирала местных магнатов и служившее им запорожское казачество, воевавших против «легитимной власти». То есть, по факту, Россия выступала в качестве спасительницы польской аристократии и еврейского населения этой страны – в ходе погромов погибло около 30 тысяч евреев. Показательно, что в помощь конфедератам направила свои войска Франция. Австрия и Пруссия также не остались в стороне. В итоге в 1772 году по инициативе Пруссии состоялся раздел Польши. Россия, сколько могла, разделу противилась, но, так как сохранить Польшу шансов уже не было, императрица пошла на это, имея цель простейшую: ослабить влияние Франции в этом регионе. Польский король и сейм договор ратифицировали.

«Преображенский полк не участвовал в войнах, – пишет биограф Арсений Замостьянов. – Державин мог бы отправиться туда волонтером, но проклятое безденежье не позволяло ступить на эту стезю».

«Безденежье» было всё-таки относительное, потому что тогда же, согласно запискам Державина, мать дала ему поручение купить «небольшую деревенишку душ 30», – мать, видно, была оборотистой, хоть и неграмотной.

С другой стороны, материнские деньги считать не след; она сколько даст – столько и имеешь.

Посему – карты. Иного варианта быстро разбогатеть не было.

Или разориться.

Здесь начинается авантюрная биография Державина.

Деньги, переданные ему матерью на покупку деревни, он тут же проиграл. В кои-то веки семья решила встать потвёрже на ноги – и тут такое. Иди и стреляйся из ружья утиной дробью в сердце.

Державин занимает деньги у знакомого, покупает деревню. Но сразу же и эту деревню, и материнское имение закладывает на имя того, кто ссудил денег.

Теперь надо выпутываться из новой ситуации. Иначе однажды придётся сказать: «Матушка, я всех нас продал, мы – разорены».

Державин знакомится с шайкой шулеров. Найдя с ними общий язык, учится у них всем шулерским премудростям: подбор и подделка карт, затягивание новичков в игру и прочим, как сам выражался, «игрецким мошенничествам».

К этим проблемам добавляются новые: семья приходского дьякона подаёт на Державина в суд за то, что он якобы изнасиловал их дочку. Неделю Гаврила сидит за решёткою, однако никаких доказательств не имеется, а сама девица отказывается свидетельствовать против него. Державина выпускают на волю, но и в полковую канцелярию сообщают.

Следом он ссорится с мошенником, занимавшимся подделкой векселей. Тот заманивает Державина в гости с целью избить или убить, для чего за ширмой держит трёх незнакомцев. Державин с этим мошенником начинают ругаться; в конце концов подаётся знак людям за ширмой, чтоб они вступали в дело, но вдруг один из незнакомцев говорит хозяину:

– Знаешь, Державин прав, а ты нет. и ежели кто из вас его тронет, я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги.

Нежданный спаситель – поручик Пётр Гасвицкий.

В следующий раз Гасвицкого выручил уже Державин: видя, что шулера обыгрывают поручика в бильярд, используя поддельные шары, он коротко шепнул ему про обман и тем спас от огромного проигрыша.

Сам Державин в те годы обманывать людей не стеснялся, да и не оставалось у него особенного выбора: пользуясь шулерскими приёмами, он понемногу отыграл все свои долги. В итоге выкупил из залога и «деревенишку», и материнское имение и, наконец, собрался возвращаться в Санкт-Петербург, подальше от московских злых мест.

В дорогу взял у приятеля матери 50 рублей займа: чист же, можно новую жизнь начинать.

И начал.

Встретил в Твери приятеля по картёжничеству – и эти 50 рублей прокутил. Занял у другого знакомого ещё 50, терпел до Новгорода, но там снова уселся за игорный стол – и опять проигрался в прах. Так Боженька наказывал нерадивого: сколько ж тебе помогать, Гаврила Романович, – и с кабаном, и с дьячковой дочкой, и с мошенниками и шулерами всех мастей... Может, остепенишься?

Дико было бы предположить, что из этого молодого человека может выйти что-то путное.

По дороге в Санкт-Петербург началась эпидемия чумы. Державина тормозят и сообщают: две недели придётся посидеть в карантине. А у него состояние – один рубль-крестовик, который взял у матери на счастье. Можно с голоду околеть за это время. Державин умоляет его пустить. Ему говорят: жги свои вещи, тогда пустим.

Делать нечего: он сжигает сундук со всеми своими стихами и рисунками: плоды многолетних трудов! Ужас как обидно.

...В Санкт-Петербурге пришлось начинать всё сначала: перезанял 80 рублей, выиграл у одного несчастливца разом 200 и долги свои вернул.

«В 1771 году, – рассказывает о себе Державин, – переведён в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебельскую должность в самой её точности и исправности; так что, когда назначен был в том лете лагерь под Красным Кабачком, то капитан Василий Васильевич Корсаков, никогда не служивший в армии и нимало не сведущий военных движений, возложил всё своё упование на фельдфебеля».

Державин признаётся, что и сам на тот момент был в военных науках не столь силён, как хотелось бы, посему учился у старых солдат, переведённых в гвардию из армейских полков, – и скоро проявил себя как образцовый младший командир: «заслужил, – скромно отчитывается Державин, – уважения от всех офицеров и унтер-офицеров, которые избрали его в хозяины...».

В 1772 году Державин получил прапорщика; в Польше война уже завершилась, но шла турецкая кампания. Державин раздумывал, как бы ему попасть под командование генерал-фельдмаршала Петра Румянцева, однако воевать пришлось не в краях далёких, а возле родимого дома.

В ноябре 1772 года беглый солдат казачьего происхождения и отъявленный авантюрист Емельян Иванович Пугачёв в Яицком городке рассказал казаку Денису Пьянову, что он есть чудом спасшийся император Пётр III. Пьянов тайну хранить не стал; поползли слухи.

Задержанный за смутные речи, Пугачёв полгода, с начала января по конец мая 1773 года, провёл в казанской тюрьме, откуда в конце концов сбежал и в августе 1773-го сообщил ту же новость нескольким казакам, которые сразу же догадались, что Пугачёв вводит их в заблуждение, но обмануться были рады и поддержали его. 17 сентября мятежники взяли Наганский форпост. Начался Пугачёвский бунт.

Обойдя слишком хорошо укреплённый Яицкий городок, пугачёвцы захватывали одну за другой крепости на Яике.

К 5 октября окружили Оренбург.

Спустя полторы недели в Санкт-Петербург пришли известия о разгоревшейся смуте.

Войсками, посланными на подавление бунта, командовал генерал-майор Василий Алексеевич Кар. По дороге он писал государыне: «Опасаясь только того, что сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег...»

Рано бахвалился; в первом же бою с пугачёвцами Кар со своим отрядом потерпел сокрушительное поражение.

Обуреваемый стыдом и ужасом, он уехал в столицу с просьбой дать ему гусарский полк, и артиллерии побольше, но его уволили, а Екатерина велела генерал-майору даже на глаза ей не показываться.

Только тогда стали обозначаться масштабы происходящего: русская армия – сильнейшая на тот момент в Европе: была поляков, была турков, была кого угодно, – и тут её разнесли в пух и прах чумазые бунтовщики. После поражения Кара стало понятно, что это – настоящая война, к тому же распространявшаяся с огромной скоростью: только в Оренбургской губернии в бунте примет участие до двухсот тысяч человек (из пятисот тысяч там живущих).

Кара сменил на посту главнокомандующего генерал-аншеф Александр Ильич Бибииков, герой Семилетней войны, непосредственный начальник Суворова в недавней польской кампании. Усмирять восставших крестьян на Яике ему в своё время тоже приходилось.

Екатерина наделила Бибиикова чрезвычайными полномочиями, повелев духовным, гражданским и военным властям беспрекословно ему подчиняться. В Санкт-Петербурге Бибииков начал сбор офицеров.

Державина на войну никто не приглашал, но он сам туда рвался. Едва ли он мог испытывать хоть какие-то сложные чувства по отношению к бунтовщикам. Причины просты: Державин был военным, патриотом своего отечества и дворянином. Пугачёв же велел «ловить, казнить и вешать» дворян. (И за время бунта их перебьют около полутора тысяч.)

Войско Пугачёва охотно пополняли ссыльные польские конфедераты, а основную массу бунтовщиков составляли казаки-раскольники, башкиры, калмыки, беглые каторжники, всякая прочая голь, или, как выражался казанский губернатор, «сухая сволочь». Державин не имел с ними ничего общего.

Если и было что общее у Пугачёва и Державина, так это мотивация. Уже после своего пленения, на допросе, рассказывая о первопричинах своих поступков, приведших к бунту, Пугачёв сказал: «... лутче умереть на войне... так похвальней быть со славою убиту!». Легко вообразить себе и Державина, произносящего подобное.

Вдохновлённый идеей попасть на войну, Державин всеми правдами и неправдами добивается аудиенции у Бибикова: возьмите, батюшка, к себе в войска.

– Сожалею, но я уже набрал офицеров, мне известных, – ответил генерал-аншеф.

Нужно было уходить, но Державин исхитрился и на десять минут увлёк Бибикова разговором; явив живой и острый ум, отдельно нажимая на то, что бунт происходит в родных его местах и там он точно сумеет быть полезен...

Бибиков, несколько часов подумав, взял-таки Гаврилу Романовича в дело.

Под Оренбургом Пугачёв подзадержался – в ноябре они всё ещё штурмовали город; Державин тем временем, не мешкая, прибыл в Казань: на месяц раньше Бибикова.

Амбиции у него играли: получивший звание подпоручика Державин всерьёз воображал, что лично пленит Пугачёва и доставит в клетке императрице. И уж тогда о молодом офицере и поэте все заговорят! Ведь в том же 1773 году у Державина вышла первая книжка (пусть и состоящая из единственного стихотворения). Одно ж к одному! Господь уберёт от кабана, не дал разорить семейство за игорным столом, – неужели ж не пособит взять самозванца?

Между тем, в Казани стояло всего три гарнизонных батальона (тогда как у Пугачёва было уже два десятка полков: яицкий, оренбургский, башкирский, калмыцкий, татарский, рабочий и т. д., не считая тысяч и тысяч восставших по краю).

О жителях казанской губернии Яков фон Брант, местный губернатор, писал: «Земледельцы разных родов, а особливо помещицы крестьяне, по их легкомыслию, в сем случае весьма опасны, и нет надежды, чтобы помещики крестьян своих с пользой могли употребить себе и обществу в оборону».

Член следственной комиссии Савва Маврин, приехавший в Казань почти одновременно с Державиным, докладывал, что страх и растерянность среди горожан велики настолько, что Пугачёв может взять город с тремя десятками казаков.

«Державина включили в своего рода спецслужбу – в секретную комиссию, которая предназначалась для разведки и пропаганды», – пишет Арсений Замостьянов.

Работа открывалась огромная.

Мало того, что пугачёвцы били правительственные войска на поле брани, но и в пропаганде Пугачёв безусловно обыгрывал власть. По остроумному выражению писателя Алексея Иванова, автора книги «Вилы» («Увидеть русский бунт»), «в пугачёвщину вся Россия от императрицы до холопа читала только два вида текстов: Часослов и манифесты Пугачёва».

Составленные пугачёвскими помощниками, манифесты работали точно.

«Пугачёв в первом же манифесте обозначил, что “яицким казакам надобно”: реки и моря, крест и бороду, – пишет Иванов. – ...соблазнял пахарей “всякими вольностями” от заводской работы... Башкир призывал к тому, к чему они и сами стремились два века – вернуть себе древнюю традицию полукочевья: “будтге подобны степным зверям!”»

«Манифесты Пугачёва стали первой информационной войной в истории России, – утверждает Иванов. – За чтение манифеста полагался кнут, за переписку и передачу – каторга. Палачи публично сжигали манифесты у позорных столбов. Засекречены были и копии для суда над мятежниками, и даже разрешения на копирование...

Для идеологической победы власть не сумела найти аргументов».

С другой стороны, если пугачёвцы писали оренбургскому губернатору Ивану Рейнсдорпу письмо, где сообщали, что тот «из бляди зделан», – что им ответишь?..

Бибииков прибыл в Казань 25 декабря, 28 декабря у него был с докладом Державин: «В 60 верстах от города толпы вооружённых татар и всякая злодейская сволочь. Надо действовать!».

Бибииков и сам понимал, что бунт расширяется с каждым днём, но «войски», как он выражался, ещё не подошли, а на маленький казанский гарнизон надежды не было.

«Бибииков наделил Державина (и не его одного, разумеется) полномочиями контрразведчика, – пишет Арсений Замостьянов. – В этой ситуации лейб-гвардии подпоручик, будучи членом секретной комиссии, стал поважнее иных полковников».

Через неделю Державина с двумя пакетами направили в Симбирск, а следом – в Самару.

До Симбирска – тридцать вёрст, с постоянным ощущением, что тебя в любую минуту могут поймать, и шансы на то преотменные.

Шедших навстречу крестьян, уже неподалёку от Симбирска, Державин спросил: бунтовщики уже в городе или ещё нет? Мужики и сами не знали, какая там власть. Сказали: у постовых штыки на ружьях – «каковых у сволочи быть не могло», заключил для себя Державин.

Опасения Державина были обоснованными. Оставаясь под Оренбургом, Пугачёв повсюду рассылал свои отряды. 25 декабря 1773 года атаман Илья Арапов взял Самару. В малые сроки бунтовщики могли оказаться где угодно: край полыхал весь, пугачёвцы полностью владели инициативой, а правительственные силы сидели в городах и молились, чтоб их миновало (показательно: казанский губернатор фон Брант отправил свою семью подальше от беды в Козьмодемьянск).

В пакетах, переданных Державину, были прописаны указания: «Найти идущие из Польши около тех мест 22-ю и 24-ю лёгкие полевые команды; о марширующих из Белоруссии 23-й и 25-й, буде можно, разведать, где они и скоро ли будут, а равно и о генерал-майоре Мансурове; также и о из Сызрани командированных бахмутских гусарах – трёхстах человеках, на которых и сделать примечания, надёжны ли они...»

«Буде можно, разведать». А буде нельзя?!

Далее приказ гласил, что в Самаре надо «найти, кто из жителей первые были начальники и уговорители народа к выходу навстречу злодеев со крестами». В той самой Самаре, что под пугачёвцами.

Державина всё равно что заслали в тылы противнику – потому что противник был везде. Несложно представить ощущения подпоручика: катишь себе на повозке, из вооружения – пистоль и шпага, в любую минуту ожидаешь, что навстречу явятся сто бородатых дьяволов, и хорошо, если сразу застрелят, – могут ведь и страшными пытками замучить, попутно выпрашивая, с какими поручениями и куда двигался ты, шпион.

Иной, пожалуй, заехал бы куда-нибудь на постоялый двор и на конюшне зарылся бы в сено на неделю-другую, но Гаврила Романович был другого душевного склада.

Он катил по тряским и ледяным дорогам навстречу своей долгожданной славе.

В Симбирске Державина ожидало хорошее известие: из Самары повстанцы выбиты отрядом майора Карла Муфеля. Он немедленно отправляется в Самару, чтобы на месте выяснить, кто именно из числа местного духовенства ответственен за то, что пугачёвцев встречали колокольным звоном.

Оказалось, что иные священники перепугались, другие искренне были убеждены, что это действительно войска Петра III. Державин не стал арестовывать провинившихся батюшек, отписав Бибиикову: «Ежели их забрать под караул, то, лиша церкви служения, не под-

ложить бы в волнуемый народ, обольщённый разными коварствами, сильнее огня к зловердному разглашению, что мы, наказывая попов, стесняем веру».

Из города Державин отправился напрямик в бой с отрядом бунтовщика Арапова – хотя это никак не входило в его должностные обязанности.

Кровавое дело завязалось 11 января в крепости Алексеевской под Самарой.

О своих подвигах Державин не хвастается, но отписывал Бибикову о геройстве других: «Что же принадлежит до гг. офицеров, то они все показали достойную душу храбрых Ея Императорского высочества войск; а особливо 24-й полевой команды г. капитан и кавалер Станкевич своею расторопностью и отважным одобрением солдат преимуществует пред всеми своими собратями; также находившийся при артиллерии поручик Жадовский; а особливо последним на горе выстрелом, сказывают, ранил атамана Арапова, кончил в нашу пользу сражение, обратив в бегство дерзостное мятежническое скопище».

В январе 1774 года с отрядом подполковника Гринёва Державин идёт налётом на взбунтовавшихся калмыков, стоящих в Красном Яре. Калмыки эти отличились тем, что, проезжая город Ставрополь, взяли там в плен воеводу и всех начальников и увезли с собою, продев кольца в носы... Был бой, калмыков перебили, пушки у них отобрали, у тех, кто из числа ставропольских несчастных ещё остался жив, вытащили кольцо из носа.

Помня о должности своей, Державин не только воюет шпагой, но и приступает к собственному пропагандистским обязанностям – в частности, пишет обращение к калмыкам.

«Кто вам сказал, что государь Пётр Третий жив? После одиннадцати лет смерти его откуда он взялся? Но ежели б он и был жив, то пришёл ли б он к казакам требовать себе помощи?.. У него есть отечество, Голштиния, и свойственник, великий государь Прусский, которого вы ужас и силу, бывши против его на войне, довольно знаете. Стыдно вам, калмыкам, слушаться мужичка, беглого с Дона казака Емельяна Пугачёва, и почитать его за царя, который хуже вас всех для того, что он разбойник, а вы всегда были люди честные».

Ну да, особенно в Ставрополе они себя проявили...

Если всерьёз: Державин работает не хуже пугачёвских агитаторов, давит на родовые представления, на логику, на «мужичка», которому не по праву командовать вольным и честным народом.

Послание распространяют от имени генерала Мансурова, возглавлявшего царские войска под Красным Яром.

Бибикову державинский текст понравился настолько, что он отправил его Екатерине II, указав автора. Так государыня впервые услышала имя Державина...

Державин в ту минуту мог бы подумать: может, и не зря он трясся в повозке, ежеминутно ожидая смерти, и стрелял по бунтовщикам, рискуя получить ответную пулю.

На счастье своё он не знал, что императрице послание не понравилось: ей показалось совершенно ненужным упоминание Голштинии и государя прусского.

Возможно, она была права: есть свидетельства, что русские крестьяне, которым это послание тоже попало в руки, поняли его смысл так, что Пугачёва приказано называть «голштинским князем» и с ним пришли «тысячи голштинской пехоты».

Державин возвращается в Казань и составляет многочисленные отчёты о проделанной им работе. Попутно Бибиков назначает его старшим по местной агитации.

«Несколько раз Державин выступал перед казанскими дворянами, – пишет Арсений Замостьянов, – призывая их братья за оружие и помогать обороне деньгами. Помещики решили выставить по одному ополченцу с каждых двухсот крепостных душ... Узнав об этом порыве, императрица назовёт себя “казанской помещицей” и в ответ выставит по одному рекруту с каждых двухсот душ царских крестьян губернии. В ответ на эту царскую милость Державин организовал восторг подданных и написал речь, которую продекламировал перед портретом государыни».

Речь эту опубликовали «Санкт-Петербургские ведомости»: с этим сочинением ему точно повезло больше.

Неизвестно, кому – Бибикову или Державину – пришла в голову ещё одна оригинальная идея.

У Пугачёва остались на Дону жена Софья и малолетние дети. С началом бунта их разыскали и перевезли в Казань. В какой-то момент было решено выпускать Софью на улицу: она рассказывала горожанам, что является женой Пугачёва – и, следовательно, он самозванец, а не царь. (У Софьи на Пугачёва имелась объяснимая обида: он не просто оставил её с детьми без средств к существованию, но и женился (уже во время бунта) на семнадцатилетней казачке Устинье Кузнецовой.)

Державин мечется из Казани в Саратов и назад – у него есть цель, которую пока не удаётся реализовать: создание собственного отряда.

В январе повстанцы осадили Екатеринбург и центр Пермской провинции – город Кунгур; захватили Челябинск. Бибиков пребывал в ужасной тревоге (отписывал жене, что ситуация здесь много хуже, чем была не так давно в польской войне). Хвататься приходилось за любые возможности; одну из них вдруг предложил Державин.

В Казани Гаврила Романович встретил своего московского знакомого по шулерскому прошлому Ивана Серебрякова. Случись такое в романе, автора попрекнули бы, что он слишком вольно верстаёт сюжет, – но жизнь куда неприятней: игорный стол, поэт Державин, шулер Серебряков, Москва, Казань – всё клеится.

Серебряков был по происхождению крестьянином, в своё время занимался расселением польских раскольников на Иргизе, сидел в тюрьме за разные махинации... Он изложил Державину свою идею поимки Пугачёва. После первого же поражения, утверждал Серебряков, Емелька Пугачёв непременно появится на Иргизе, где у него оставались друзья-раскольники. А у Серебрякова проживал в тех местах давний знакомый – помещик Максимов. Надо толком расставить сети и с его помощью обезвредить Пугачёва.

Бибикову идея показалась резонной; он отправил Державина к месту возможного пленения Пугачёва – в раскольничий посёлок Малыковка – вербовать штат тайных осведомителей.

Этим Державин и занялся, попутно собирая свой отряд: если не удастся затея шулера Серебрякова, надо исхитриться и пленить самозванца лично!..

В тот момент Державина, наконец, перевели в поручики (старшие лейтенанты).

Но здесь случилась беда неожиданная: 9 апреля 1774 года, подцепив холеру, скоропостижно умер Бибиков, ему было 44 года. Никто, кроме него, не знал о мужестве и расторопности Державина. И что теперь? Заново кому-то рассказывать, сколько тут проделано разной работы – военной, пропагандистской, разведывательной? (И – среди прочего – административной: Державин составлял списки наиболее пострадавших от пугачёвщины местных жителей.)

Нужно было совершить поступок, заметный всем.

Имея к тому моменту в управлении двести гарнизонных солдат и сто пятьдесят ополченцев-крестьян, при двух орудиях, поручик Державин, проведя разведку, решает идти на Яицкий городок, чью крепость Пугачёв безуспешно пытался взять которую неделю.

О, это была бы встреча! Но, кажется, она завершилась бы печально для русской словесности.

По пути Державин узнаёт, что Яицкий городок освободил генерал Мансуров, а Пугачёв со своей шайкой куда-то запропал.

Что, впрочем, оставляло надежду однажды его изловить. Но пока надо было завершить дела близ Малыковки. Ситуация в тех местах сложилась такая, что пленить Державина там могли с куда большей вероятностью, чем Пугачёва.

Предоставим слово Пушкину, и процитируем его «Историю Пугачёвского бунта»: «Державин, приближаясь к одному из сёл близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачёву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина... изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Фёдоровичем, – и начали было наступать на Державина».

Всё могло окончиться здесь же: два казака и поручик против толпы – их могли растерзать.

Пушкин уверяет: Державин грозил, что за ним «идут три полка». Своё подразделение у Державина уже было, но здесь он блефовал – никто к нему не шёл.

Однако толпа подалась, и, видя это, Державин приказал двоих смутьянов немедленно повесить. Что и сделали. Следом – с двумя-то казаками! – приказал принести плетей и всех самых буйных пересёк.

Откуда что взялось в этом картёжнике и сочинителе!

Пугачёв тем временем потерпел очередное поражение в бою с войсками князя Петра Голицына, основная часть восставших была рассеяна, сам он бежал с несколькими сотнями казаков; но в Малыковке так и не появился.

Возникло ложное ощущение, что бунт теперь пойдёт на спад; впрочем, не у Державина. Он, человек здоровый, как раз в те дни докладывал начальству, что не только своеволие всякой сволочи служит причиной бунту, но и мздоимство, лихоимство и неустанное воровство всяческого начальства.

Новым командующим войсками стал князь Фёдор Щербатов.

Уверенность государыни, что самое страшное уже позади, выразилась ещё и в том, что Щербатов не имел тех абсолютных полномочий, что покойный Бибииков: гражданские и административные дела вернулись к губернаторам.

Но не тут-то было. К маю у Пугачёва снова была целая армия в десять тысяч человек.

В том же мае Пугачёва снова разбили, причём дважды подряд; но что это меняло? – пока самозванный император был жив, он стремительно находил себе новых сторонников. Россия наполнилась злыми и оскорблёнными.

В июне Пугачёв во главе своей вновь собравшейся шайки взял Красноуфимск, а 11 июля во главе двадцатитысячного войска оказался под Казанью. Город взяли с налёта; уцелевший гарнизон спрятался в крепости.

«Когда брали Казань, – пишет Ходасевич, – державинский дом был разграблен, сама же Фёкла Андреевна попала в число тех “пленных”, которых башкирцы, подгоняя копьями и нагайками, увели за семь вёрст от города, в лагерь самозванца. Там поставлены были пленники на колени перед наведёнными на них пушками. Женщины подняли вой – их отпустили».

Пока грабили город, обнаружили и ту самую, первую жену Пугачёва, с тремя его детишками: две дочки и сын Трофим. Пугачёв, ввиду того, что он теперь был Пётр III, жену не признал, но и не погнал, а сказал во всеуслышанье, что это не его супруга, а донского казака Емельяна Ивановича, погибшего за своего императора. То есть, за него. И поэтому он их будет держать возле себя. Жена его ненавидела, но перечить не могла.

Без лишних глаз он пообщался с детьми и женой только через несколько дней. Не от неё, так от других Пугачёв узнал, чем она занималась в Казани. Возможно, что она знала фамилию Державина и могла рассказать, кто был причиной её унижения. По крайней мере, последующие события дают некоторые основания предполагать, что к Державину Пугачёв имел свои счёты.

Державин пребывал тогда в тяжелейшем настроении. В какой-то момент самозванец стал казаться неуничтожимым: сколько уже поражений потерпело его войско – и что? Вот

он вновь здесь, он берёт один из крупнейших городов России – только и жди, что двинется дальше на Нижний Новгород; а там и до Москвы рукой подать.

Пустыни вретищем покрылись,
Весна уныла на цветах;
Казань вострепетала в сердце;
Потух горящий воев дух.
<...>
Расстроилось побед начало;
Сильнее разлилася язва;
Скрепился в злобе лютый тигр¹.

Державин ждал Пугачёва в засаде, но оказался в нелепом положении: отправлял его в Малыковку Бибииков, новое начальство понять не могло, что он вообще там делает; приходилось долго и нудно объясняться.

15 июля Пугачёв был разбит под Казанью отрядом Ивана Михельсона и, прихватив жену и детей, бежал. С ним, впрочем, осталось до трёх тысяч человек, и он был уверен, что это ещё не конец его дела.

И не ошибался: во второй половине июля пали перед бунтовщиками Цивильск, Курмыш, Алатырь, Саранск, 1 августа Пугачёв взял Пензу и двинулся на Саратов.

Державин направился навстречу супостату. В Саратове он пытался растормошить местное начальство, не способное ни к каким действиям и парализованное самим фактом приближения самозванца. В своих воспоминаниях Гаврила Романович пишет, что сумел собрать горожан на укрепление города, и они «оказали ревностное желание к работам».

«Однако на другой день комендант по упорству своему, – продолжает Державин, – призвав полицеймейстера, приказал объявить жителям, что они на работу не наряжаются».

Хорошо, сказал Державин, давайте тогда соберём и пошлём навстречу Пугачёву отряд.

«Но как предводительствовать оным никто от начальников не выбирался и не вызывался никого к тому своею охотою, то и принял он на себя совершить сие предприятие», – повествует о себе в третьем лице Державин.

Тогда с ним приключилось видение: разговаривая с местным бригадиром и прочим начальственным лицом, Державин взглянул нечаянно в окно и увидел там голый череп, хлопающий костяной челюстью.

«Сие он хотя в мыслях своих принял за худое предвещание; но, однако же, в предпринятый свой путь без всякого отлагательства поехал», – признаётся Державин.

Конечно же, ему было жутко: вдруг оказаться один на один с бешеным смутьяном, погубившим бессчётное количество людей, взявшим столько городов и несколько раз удачно побеждавшим царские войска.

На что надеялся Державин, с сотней казаков выходя против Пугачёва, понять сложно; но в любом случае в мужестве поэту не откажешь.

Державин выдвинулся в сторону Петровска.

Сложилось так, что бунтовщики двигались ровно навстречу – и сам Пугачёв находился в первых рядах своего войска. Тут они, к обоюдному удивлению, и столкнулись: пугачёвские молодчики и державинские казаки во главе со своим поручиком.

Приданные Державину казаки тут же сдались: «Ты как хочешь, барин, а мы переходим под руку императора».

Державин с Пугачёвым видели друг друга глаза в глаза.

¹ В первоначальной редакции этого стихотворения у Державина было «Скрепился в зверстве Пугачёв».

Принимать сражение Державину оказалось не с кем – можно было лишь принять смерть.

Но одно дело – героически погибнуть в бою, а другое – быть зарезанным, как овца.

Державин выбрал побег: пришпорил коня и помчался; его гнали несколько вёрст. В той погоне он мог бы поседеть.

...Кому, какими словами молился, пока летел по степи? что обещал за своё спасение?..

В Саратов возвращаться было нельзя: позор же – всех разбередил, а сам потерял отряд. Никому ж не докажешь, что казачки отказались сражаться.

К тому же, 6 августа город был взят Пугачёвым. Так что и доказывать что-то было уже некому.

Но именно саратовское бесславное поражение станет причиной того, что за все труды при подавлении пугачёвщины Державина так и не отблагодарят.

Другой бы на месте Державина удавился бы со стыда в те дни, но Гаврила сцепил зубы и продолжил своё безнадёжное, казалось бы, дело.

Пугачёв оценил старания Державина, пообещав за его голову десять тысяч рублей. Впрочем, вполне возможно, что этот факт поэт выдумал позднее. Сойдёмся на том, что – мог пообещать (всё равно бы не отдал никому таких денег). В любом случае, погоню за Державиным Пугачёв организовал. Причины?

Наверняка перешедшие на сторону Пугачёва казаки сказали имя наглеца, отправившегося на самого «императора» с ничтожною сотнею. Кроме того, разговорился взятый в плен слуга Державина, который знал о хозяине многое. Слуга был из польских гусар. Державин относился к нему почти как к равному (это «почти» и добивало польского гусара) – а слуга тем временем только искал возможность хоть как-то этой татарской роже отомстить.

Добравшись до поселений немецких колонистов в Заволжье, неугомонный Державин начал агитировать их на борьбу с Пугачёвым. Поляк знал об этих планах, и в подробностях пересказал пугачёвцам, где искать поручика.

Спасли поэта немецкие колонисты. Может быть, достойное знание немецкого языка Державиным тут сыграло свою роль.

Выучил бы французский вместо немецкого – и колонисты ещё подумали бы, выручать ли.

Державину шепнули, что пугачёвцы, приехавшие за ним, остановились подкрепиться в ближайшей колонии, всего за пять вёрст, и, едва завершат трапезу, явятся, чтоб его убить. Державин вскочил на лошадь и проскакал девяносто вёрст до самой Сызрани.

У парома через Волгу он столкнулся с завербованным на присмотр за порядком крестьянским караулом из двухсот человек – им тоже надо было на другую сторону. Крестьяне его знали – они были из близлежащих к Малыковке деревень. Но мужики эти, скоро догадался Державин, решили не караул нести, а перейти на сторону самозванца.

...Беда в том, что догадался он об этом, уже будучи на пароме!

Хитрые крестьяне тоже быстро смекнули, что являться с пустыми руками к «императору» нехорошо, и попытались взять поручика в плен.

То было томительное путешествие. Благо, они ещё не были вооружены, а у Державина имелся пистолет.

Весь путь на пароме он простоял лицом к изменникам. Думается, здесь имела место весьма увлекательная игра в «гляделки»: наглые, ощерившиеся морды «сущей сволочи» – и 31-летний поручик, держащий белую руку на рукояти пистолета и всем своим видом выказывающий, что выстрелит в лоб любому, кто сделает к нему шаг.

Из двухсот так никто и не решился.

На берегу Державина преследовать не стали.

Прибыв в селенье князя Петра Голицына, Державин всякими уговорами сподобил некоего Былинкина, «человека смелого и проворного», отправиться в стан Пугачёва и самозванца убить.

Старому своему знакомому – тому самому, с кем играл в карты и собирався взять в плен Пугачёва на Иргизе, пройдохе и держателю сети лазутчиков Серебрякову – Державин отдал приказание направиться к генералу Мансурову: позвать того спасать Саратов. Но это оказалось последним предприятием Серебрякова – по пути его, ехавшего вместе с сыном, поймали пугачёвцы и, после недолгого допроса, убили обоих.

В Малыковке, на которую Державин истратил столько времени, сил и, между прочим, переданных ещё Бибиковым финансов, местные жители снова решили переметнуться к бунтовщикам. Когда явились два пугачёвца, малыковские им так обрадовались, что самых верных Державину людей повесили, а потом, для пущей верности, ещё и расстреляли. Оставленного Державиным казначея убили, жену его изнасиловали, а потом тоже убили, и малых детей их порешили – за ноги и головами об угол избы. Два пьяных пугачёвца только смотрели и посмеивались, и снова просили водки принести.

10 августа под Сызранью, в селе Колодне, Державин присоединился к отряду генерала Петра Голицына, некоторое время назад назначенного Екатериной II главнокомандующим вместо Щербатова, который явно не справлялся.

(Затем Голицына сменил Пётр Иванович Панин. Более того, в какой-то момент государыня хотела лично возглавить войска, чтобы не дать самозванцу явиться в Москву: её еле отговорили. Однако это даёт понять, каков был масштаб явления! Ни война с польскими конфедератами, ни турецкая война подобных желаний у Екатерины II не вызывали.

...И в свете всех этих кадровых решений вновь обратим внимание на амбициозного поручика Державина, который месяц за месяцем не терял надежды переиграть генералов и князей и пленить либо умертвить самозванца лично.)

К несчастью для пугачёвцев – а то неизвестно, сколько бы они ещё прокуражились, – Русско-турецкая война закончилась победой России, был заключён мирный договор, и войска с турецкого фронта под руководством Александра Суворова направились теперь давить пугачёвщину.

21 августа Пугачёв подошёл к Царицыну, но взять город не смог.

Державину к августу наконец удалось собрать собственный отряд. Голицын ему дал 25 гусар и одну пушку, а дальше Державин справился сам: призвал несколько верных казаков, полторы сотни немецких колонистов и полторы сотни местных крестьян.

В первых числах сентября он наведлся в Малыковку – то, что местные там взбунтовались и державинских людей перебили, вовсе не означало отмену плана: Пугачёв действительно мог там появиться.

В наказание за предательство Державин устроил показательную жуть – согнал всех жителей Малыковки и окрестных деревень, выявил трёх злодеев и, обрядив в саваны, повесил. В действе принимали участие семь священнослужителей в ризах, которые отказать Державину не смогли.

Не успокоившись на этом, Державин приказал ещё и выпороть те самые двести человек, что едва не пленили его на пароме.

Когда их пороли, Державин ходил туда и сюда, наблюдая экзекуцию. Крестьяне должны были всякий раз при его приближении кричать: «Виноваты», а на вопрос: «Будете ли верны государыне?» отвечать: «Рады служить верою и правдою!».

Нет, пропагандист Державин всё-таки был отменный. Да и театральный постановщик тоже.

После экзекуции он повелел местным заготовить ему провианта на долгий поход и снарядить конных ратников. Противиться никто не посмел: в кратчайшие сроки пригнали телеги с провиантом и явилось семьсот бойцов.

Державин приступил к организации натурального фронта – своего собственного; а то ждать ещё вашего Панина из Санкт-Петербурга.

Представим себе на миг этого поручика, взирающего на сотни вооружённых и подчиняющихся ему людей. О, час поражения или великой славы, – ты близок!

Войско своё Державин переправил через Волгу. На другом берегу Волги двести человек разделил он на четыре форпоста и подчинил каждый форпост начальникам колоний; расставил на возвышенностях маяки с тремя караульными возле каждого.

Далее цитируем самого Державина: «От нечаянного нападения не привыкшие к строю крестьяне чтоб не пришли в замешательство и робость, то из ста телег с провиантом построил вагенбург, в средину которого поставил сто человек с долгими пиками, а 400 остальных, разделя на два эскадрона и разотчя на плутонги, из гусар назначил между ими офицеров и унтер-офицеров; поставил на флигелях в передней шеренге пушку под прикрытием 20 фузилёр, составил свою армию и пошёл прямо через степь...»

Ну, просто римский консул какой-то!

Первой целью Державина было усмирение восставших казахов (киргиз-кайсаков, как их тогда называли), терроризировавших немецкие колонии и теперь вознамерившихся соединиться с Пугачёвым.

В идеале же он рассчитывал на новую встречу с Пугачёвым и реванш.

То, что вокруг Пугачёва собиралось до двадцати тысяч бунтующей черни, Державина не пугало: у Михельсона, разбившего самозванца под Казанью, в отряде было немногим больше тысячи солдат. Впрочем, у Михельсона было вымуштрованные и обстрелянные бойцы, а тут ещё надо было посмотреть.

И посмотрел.

Державин со своей, как он выражался, «армией» атаковал двухтысячное войско бунтующих казахов (свистели стрелы над головою! раздавались крики раненых! грохотало возбуждённое сердце!) и обратил их в бегство.

Казахи потеряли 48 человек убитыми. В плен к Державину попали два молодых вельможи. Трофеи Державин получил более чем убедительные: всякое казахами наворованное добро, скот, но самое главное – казахи держали в плену 811 европейских колонистов и 700 малоросов и русаков. И всех их освободил наш поэт.

«Подайте сюда Пугачёва!» – мог он воскликнуть в те минуты.

Впрочем, к месту бунта прибыл уже с турецкого фронта Александр Суворов со своими молодцами – и совершил несколько карательных рейдов, поражавших всех своей победительной скоростью; вступать с ним в соревнование в случае поручика Державина было всё-таки самонадеянно, хотя у него имелся воинский дар и определённая, не лишняя в этом деле, удачливость.

Зато Державину пришла тогда в голову другая идея.

Гоняться со всей своей разномастной армией за бунтовщиками смысла не было – в очередной раз разбитый под Царицыном Пугачёв ни в какие сражения уже не вступал, а где-то прятался. Куда проще, решил Державин, взять его обманом.

Поэт вернулся к своей уже давшей плоды тактике, замешанной на у страшении и пропаганде. Он отобрал из бывших при нём малыковских крестьян сто человек, а детей их и жён взял в заложники, чтоб мужики, если что, не разбежались. Раздал всей этой сотне по пять рублей и пообещал отблагодарить многократно щедрее в случае удачи. Крестьянам следовало догнать бежавших казахов и пристать к ним под видом людей, желающих перейти к Пугачёву. И, уже попав в расположение бунтовщиков, взять самозванца в плен.

«Дабы придать более отряду важности, – признаётся в своих мрачных делах Державин, – и вперенным в мысли их ужасом отвратить от малейшего покушения в измене, приказал... собраться в полночь в лесу на назначенном месте, где, поставя в их круг священника с Евангелием на налое, привёл к присяге...»

Но что присяга без казни? – и тут же, в присутствии священника, приказал повесить ещё одного малыковского злодея, недавно попавшегося в плен. После чего поэт «дал наставление, чтоб они живого или мёртвого привезли к нему Пугачёва, за что они все единогласно взялись и в том присягали».

Трудно предположить, чтоб кто-то после такого полуночного представления отказался.

Поэт Иван Дмитриев скажет потом, что Державин вешал людей «из поэтического любопытства», а Пушкин его слова процитирует в своей «Истории Пугачёва». Ну, едва ли. То была жуткая война, где сгорали целые города, а к бунту склонялись не тысячи, а сотни тысяч людей; ограбленным, убитым, замученным, казнённым счёт шёл на десятки тысяч, и взаимное остервенение после целого года войны достигло степеней небывалых.

Между прочим, новая затея Державина едва не увенчалась успехом: то ли вдохновлённые, то ли насмерть перепуганные мужики обнаружили пугачёвскую стоянку, взяли в плен его полковника... но самого Емельяна Ивановича какими-то часами раньше повязали свои же казаки, разуверившиеся в удаче.

Державинские разведчики пришли к ещё не потухшему костру, у которого последний раз трапезничал на свободе великий самозванец.

Державину в те дни – с превеликим уважением, как к равному, – писал сам Суворов: «О усердии к службе Ея Императорского величества вашего благородия я уже много известен; тоже и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачёва...»

Суворов направился к Яицкому городку, куда отвезли пленённого Пугачёва. По пути встретился с недобитыми Державиным киргиз-кайсаками, принял бой, потерял адъютанта и нескольких человек убитыми, смял сопротивление – и, сделав ряд стремительных переходов по разбитым дорогам, принял Пугачёва от коменданта городка.

Державину оставалось только одно: первым направить сообщение о пленении самозванца. Курьер его долетел до Павла Потёмкина, а тот уже отписал императрице в Петербург: «...получил я от поручика Державина... наиприятнейшее известие... изверга и злодея Пугачёва на Узеньях поймали...»

Державин явился к главнокомандующему Панину, чтоб отчитаться о многообразной своей работе.

Панин спросил: «Видел ли ты Пугачёва, поручик?»

Державин скромно ответил: «Видел, на коне»; не рассказывать же в подробностях, как мчался от него через степь.

Ввели самозванца: в оковах и в засаленном тулупе.

«Лишь пришёл, то и встал перед графом на колени, – описывает Державин ту встречу. – Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, чёрные, склоченные; росту среднего, глаза большие, чёрные на соловом глазуре, как на бельмах. От роду 35 или 40 лет».

– Здоров ли ты, Емелька? – спросил Панин.

– Ночей не сплю, всё плачу, батюшка, – сказал Пугачёв.

– Надейся на милость императрицы, Емелька, – сказал Панин.

Державин предположил, что эту сценку Панин разыграл для него: ловил ты, поручик, ловил смутьяна – а он вот где, предо мной на коленях стоит.

Ни Державину, ни Суворову наград за бессонные дни и ночи, мытарства и риск от государыни не последовало. Сосчитать даже сложно, сколько раз за эти месяцы могли Державина застрелить, растерзать, удавить, размясничить, – и вот что в итоге.

Не от обиды, но от жуткого переутомления Державин слёг, и три месяца пролежал, борясь сразу со всеми хворями, обрушившимися на него.

Но вынес, выполз, выздоровел.

В январе, 10 числа, Пугачёва казнят на Болотной площади в Москве, но до июля 1775 года Державин будет гасить и вытаптывать остатки пугачёвщины.

Зададимся вопросом: был ли он закоренелым крепостником, и знать не желающим об истинных причинах бунта? Нет, конечно. В те же дни Державин напишет:

Емелька с Каталиной – змей;
Разбойник, распренник, грабитель
И царь, невинных утеснитель, —
Равно вселенной всей злодей.

Имения его – и казанские, и оренбургские – были разорены, а мать едва не погибла: он вполне мог возложить вину за случившееся исключительно на Пугачёва. Но у поэта хватило разума понять, что вина за бунт – общая: и распренников, и утеснителей. Он поднялся над своей личной бедой и уравнил бунтовщика и царя.

В 1776 году выйдет книга Державина «Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае 1774 года». Гора Читалагай находилась близ одной из немецких колоний, верстах в ста от Саратова, на левом берегу Волги: места, памятные для Державина.

Пугачёвщины эти стихи напрямую, как правило, не касались, за исключением «Оды на смерть генерал-аншефа Бибикова»:

Возрев на предстоящих слёзных:
«Не жаль отца, жены и чад:
Воздать любящая заслугам,
Российска мать призрит их;
Мне жаль отечество оставить!».
Ты рек, и рок сомкнул вздыханья.

«Гиперболизм и грубость» – основные два качества, которые Ходасевич увидел в тех стихах Державина. Именно они и станут характеризовать его последующую поэзию. Ходасевич решил, что эти черты Державин унаследовал из прочтённой им тогда книжки «Разные стихотворения» Фридриха II, короля прусского.

Но разве русский бунт не учит именно этому: гиперболизму и грубости?

В феврале 1777 года Державина переводят с военной службы на статскую с чином коллежского советника. Он получает должность в Сенате и женится на шестнадцатилетней Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери бывшего камердинера Петра III португальца Бастидона.

Позади – картёжные приключения, годы солдатской и офицерской службы, война.

В эти годы начинается Державин как огромный поэт: для русской поэзии это серьёзный заступ – ему было за 35, добрая половина русских классиков в эти годы уже подводила итоги...

Но он искал интонацию; он точно понял, что не умеет писать как Ломоносов – безупречно выдерживая строй возвышенной речи, – но своей манеры ещё не придумал.

Надо сказать, что Державину элементарно не хватало образования. Но именно это и пошло, как ни странно, на пользу его стихам.

Державин воспринял поэзию не как пышный и утомительный церемониал – он вёл себя с языком так, будто ему нужно объездить коня. Он привил поэзии некоторую даже вуль-

гарность – потому что формировался не при дворе, а в казармах. Державинская поэзия – мясная, прямолинейная, звучная.

В 1779 году Державин пишет классическое «На смерть князя Мещерского»:

Глагол времён! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовёт меня, зовёт твой стон,
Зовёт – и к гробу приближает.

В этом стихотворении есть строчка «скользим мы бездны на краю» (от неё рукой подать до таких, казалось бы, далёких вещей, как песня «Кони привередливые» или «Над пропастью во ржи», не говоря уже о пушкинском «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю»). Сложилась бы эта строчка без той погони под Саратовом, когда Державин уносил голову от пугачёвцев?

И не в продолжение ли темы Емельки и Каталины сказано там:

Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник – снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает.

Но до удачи, определившей судьбу Державина, оставалось ещё три года. В 1782-м была им написана «Фелица», посвящённая государыне Екатерине II:

Богopodobная царевна
Киргиз – Кайсацкия орды!

И хотя державинская «Фелица» апеллирует к сказке, сочинённой Екатериной, где киевский царевич попадает к казахскому хану в плен, явление казахов (киргиз-кайсаков) во второй же строке имеет и биографический смысл: ведь именно над их воинством Державин одержал свою самую серьёзную победу.

Так что, вознося оду императрице, он хоть бы и для собственного удовлетворения, но напоминал, что часть орды была приведена в подданство автором оды.

Стихотворение это даже по нынешним временам слишком вольно по отношению к царствующему лицу:

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,

– пишет Державин, называвший себя, напомним, «мурзой» (к тому времени он получил уже чин статского советника и пешей ходьбой себя не утруждал).

В случае с «мурзой» венценосная его читательница могла понять это определение как обобщающее всю знать. Доказывая, что сравнение происходит исключительно с ним самим, Державин завершает следующую строфу очередным сомнительным комплиментом:

Подобно в карты не играешь,
Как я от утра до утра.

И далее:

А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью.

А что ты ещё делаешь, Гаврила Романович? Может, зря тебе дали статского советника, компенсации за разграбленные пугачёвцами деревни и 300 душ в Белоруссии?

Не стесняясь, он продолжает явку с повинной: «шампанским вафли запиваю» – раз, «на бархатном диване лежа, молодой девицы чувства нежа» – два, «за Библией, зевая, сплю» – три; ну и так далее.

В «Объяснениях на сочинения Державина», данных автором собственноручно, он напишет, что под «мурзой», обожающим наряжаться, имелся в виду Потёмкин, следом шёл неумолимый охотник Панин, забавлявшийся, согласно оде, «лаем псов», а за Библией спал не сам Державин, а князь Вяземский... Но мы всё равно понимаем, что в первую очередь автор в виду имел себя и тем самым хитро ставил собственную персону вровень не только с первыми лицами государства, но и с императрицей: потому что, даже возвеличивая Екатерину, – Державин её очеловечивал; спустя несколько лет он напишет ещё прямее и жёстче:

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

Ода «Фелица» сначала разошлась в списках, затем вышла в журнальном виде, и, наконец, попала в руки императрице.

Она прочитала – и разрыдалась.

Из разногласия согласие
И из страстей свирепых счастье
Ты можешь только созидать.
Так кормщик, через понт плывущий,
Ловя под парус ветр ревущий,
Умеет судном управлять.

Державин догадался, что лучшие комплименты в адрес женщины начинаются с подробного и вдохновенного самоуничижения.

Дальше начались чудеса.

Обедал как-то Державин у того самого Вяземского, что имел обыкновение дремать за чтением Библии, и тут приходит посылка, где начертано: «От Киргизской царевны к мурзе».

Сердце так и упало – или, верней, вознеслось: Гаврила Романович всё понял в первый же миг.

Вскрыл: там золотая табакерка, усыпанная бриллиантами, а в ней – 500 червонцев. Всё вместе – на три тысячи рублей! (Поменьше, чем Пугачёв предлагал за голову Державина; но самозванец хотел голову на один раз, а тут история обещала разнообразные продолжения.)

Через несколько месяцев Державин получит чин действительного статского советника.

Не почивая на лаврах, он продолжает доблестную службу в Сенате: к примеру, пересчитав табели о предполагаемых доходах на грядущий 1784 год, он разыскал затерявшиеся по разным статьям... 8 миллионов рублей.

Однако, чтоб люди, уже тогда имевшие привычку погреться близ казны, не сжили его со света, Державин в 1784 году вышел в отставку.

В том же году он был назначен первым гражданским губернатором только что образованной Олонецкой губернии, а через год – губернатором Тамбовской.

Управленец Державин был достойный: без сна и покоя, маниакально честный, принимающий посетителей с утра до вечера. Привлекал меценатов и сам меценатствовал, открыл в Тамбове четырёхклассное училище, выписал учителей из Петербурга и каждому выделил по квартире. Следом появились двухклассные училища в каждом крупном городке губернии: Елатье, Козлове, Лебедяни, Липецке, Моршанске, Спасске, Темникове... Создал детский хор и, умевший петь, некоторое время самолично обучал певческий класс вокалу.

В 1787 году за труды праведные был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени.

Но при всех своих достоинствах, Державин был ещё и амбициозен, и неуживчив, и своенравен; в итоге у него начался конфликт с местной знатью.

Дошло до того, что Державина принимала императрица, заинтересованная, как этот мурза умудряется ругаться буквально со всеми, с кем сталкивает его государственная работа. Державин отвечал ей бойко и уверенно, в своей правоте убеждённый и виноватыми видевший всех остальных.

Екатерина, впрочем, рассудила иначе: «Надобно искать причину в себе самом».

Державина с губернаторского поста убрали, но спустя какое-то время пожалели об этом. «Стали говорить, что прежний губернатор был горяч и крут, но честнейший человек и умел веселить общество», – писал современник.

Два года Державин ждал следующего назначения. Но поэзии это шло на пользу, тем более, что воспевать было что.

В августе 1787 года началась очередная Русско-турецкая война: на кону оказались Дунай, Кубань, Кавказ, присоединённый в 1783 году Крым.

Турция осадила российскую крепость Очаков, где развернулись страшные бои с участием давнего знакомого Гаврилы Державина – Александра Суворова.

Державин пишет «Осень во время осады Очакова» (1788):

Огонь, в волнах не угасимый,
Очаковские стены жрёт,
Пред ними росс непобедимый
И в мраз зелёны лавры жнёт;
Седые бури презирает,
На льды, на рвы, на гром летит,
В водах и в пламе помышляет:
Или умрёт, иль победит.

Жрёт, росс, мраз, рвы: пр-р-родирает!

В стихотворении чередуются рифмованные и нерифмованные строфы, и это создаёт особое ощущение: теряя рифму, слух словно перенастраивается; потом снова находит опору в рифме, и следом опять теряет; Державин нарочно берedit читателя:

Мужайтесь, росски Ахиллесы,
Богини северной сыны!
Хотя вы в Стикс не погружались,
Но вы бессмертны по делам.
На вас всех мысль, на вас всех взоры,
Держайте ваших вслед отцов!

Нарочитые грамматические перестановки создают неожиданно торжественный и убедительный эффект. Державинский стих обладает сразу двумя противоположными свойствами: он настойчиво увлекает читателя – и одновременно своей семантической алогичностью принуждает останавливаться.

Это поэтические горки: бешеный разгон – и тут же, вдруг, с лязгом полозьев, торможение.

Времени, в котором он жил, Державин был адекватен как никто иной.

В самый разгар Русско-турецкой войны, летом 1788-го, Швеция объявила войну России, решив захватить Петербург и вернуть себе российские владения на берегах Балтийского моря (Англия и Пруссия тайно поддерживали Швецию; ну и Турцию тоже – буквально навязывая России переговоры с ней). Но двухлетняя война не принесла Швеции ничего: Россия устояла, воюя на два фронта.

Если губернаторская деятельность Державина была предметом споров и даже тяжб с соперниками, то поэтический дар Державина стал вскоре неоспоримым: он был признан при дворе и по праву занял место первого поэта империи. И какой империи! – находившейся в зените своего могущества.

Вот как видел Державин российскую географию в стихотворении «Изображение Фелицы» (1789):

Престол её на Скандинавских,
Камчатских и златых горах,
От стран Таймурских до Кубанских
Поставь на сорок двух столпах;
Как восемь бы зеркал стояли
Её великие моря;
С полнеба звёзды освещали,
Вокруг – багряная заря.

Екатерина II возвращает благосклонность Державину: он получает должность кабинет-секретаря императрицы, и, всем известный своим упрямством и почти невозможной честностью, ведёт сложнейшие финансовые расследования по делам и особам, приближённым ко двору.

«Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным проходил он в её причудливые покои», – метко опишет Державина Ходасевич.

Нити финансовых махинаций приводят так близко к царской фамилии, что державинские доклады часто превращаются в перебранку с государыней. Однажды он так разгорячился, что схватил её за край одежды, и Екатерина приказала Державина вывести – «а то руки распускает». В другой раз она, взбешённая, прокричала: «Пошёл вон!» на него; но после всё равно вернула.

В 1790 году Державин упрочит своё положение, создав ещё один милитаристский шедевр – «На взятие Измаила» (превращённый немецкими и французскими инженерами в неприступную крепость с 35-тысячным гарнизоном, Измаил был взят 31-тысячной российской армией; потеря Измаила вызвала в Европе шок и растерянность – было очевидно, что столь сильной армии нет ни у кого):

Везувий пламя изрыгает,
Столп огненный во тьме стоит,
Багрово зарево зияет,
Дым чёрный клубом вверх летит;

Краснеет понт, ревет гром ярый,
Ударам вслед звучат удары;
Дрожит земля, дождь искр течет;
Клокочут реки рдяной лавы, —
О росс! таков твой образ славы,
Что зрел под Измаилом свет!

Росс, согласно Державину, «...в Европе грады брал, тряс троны, / Свергал царей, давал короны / Могущею своей рукой».

О кровь славян! Сын предков славных!
Несокрушаемый колосс!
Кому в величестве нет равных,
Взросший на полсвете росс!

Державин натурально упивается величием Отечества. Геополитические планы росса, по Державину, простираются дальше, чем на «полсвета»; тем более, что полсвета нами и так уже покорены:

Ничто – коль росс рождён судьбою
От варварских хранить вас уз,
Темиров попирать ногою,
Блюсть ваших от Омаров муз,
Отмстить крестовые походы,
Очистить иордански воды,
Священный гроб освободить,
Афинам возвратить Афины,
Град Константинов Константину
И мир Афету водворить.

Под Омаром имелся в виду зять Магомета, который, завоевав Александрию, сжёг библиотеку. Афет же – сын Ноя, которому досталась Европа. То есть, по сути, Державин определял судьбу России как хранительницы Европы; и, пожалуй, был недалёк от истины. Екатерина, по воспоминаниям Державина, была настроена вполне радикально: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена б была Российскому скипетру». Она строила Третий Рим, и внука своего назвала Константином не случайно – он должен был стать наместником отвоёванного у турок Константинополя.

Стихотворение «На взятие Измаила» тогда обрело оглушительную известность – выпущенное отдельной книжкой, тут же разошлось тиражом в три тысячи экземпляров: огромные цифры по тем временам; Екатерина вновь одарила мурзу дорогими подарками.

Григорий Потёмкин в своём дворце, который позже получит название Таврического, устроил бал в честь победы; в подготовке торжества участвовал Державин, написавший тексты для исполнявшихся хоров.

Праздник удался; присутствовала императрица, восьмилетний Васенька Жуковский был на всю жизнь потрясен звучащими тогда строками Державина.

Полные яств столы, описываемые Державиным, – и те будто бы отражают огромность и победительность России.

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,

Рассыпала по ним и злато, и серебро;
Восточный, западный, седые океаны,
Тряся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы сзтепи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принёс кошницу Тавр,

– это империя, это её размах.

Державин не столько описывает раблезианские пиршества, сколько сама Россия у него выглядит как скатерть-самобранка.

«Какая перемена политического нашего состояния! – писал о свершившейся победе Державин. – Давно ли Украйна и Понизовые места подвержены были непрерывным набегам хищных орд? Давно ли? – О! Коль приятно напоминание минувших напастей, когда они прошли, как страшный сон. Теперь мы наслаждаемся в пресветлых торжествах благоденствием».

Торопиться, впрочем, не стоило. Напасти вовсе не заканчивались: английские корабли готовились к походу на Кронштадт, к западной границе России выдвинулась прусская армия, – ведущие европейские игроки не желали смириться с падением Измаила; и самый рост, как на дрожжах, России их нервировал и пугал.

Ещё один державинский шедевр – «Заздравный орёл» – написан в безусловно востребованном временем жанре, на мотив солдатских песен:

О! исполать, ребята,
Вам, русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем не победимы:
За здоровье ваше пьём.
Орёл бросает взоры
На льва и на луну,
Стокгольмы и Босфоры
Все бьют челом ему.

Орёл – это, естественно, Россия, её герб. Лев и луна – соответственно, гербы Швеции и Турции, многовековых и на тот момент главных врагов России, с которыми только что завершились очередные войны.

С 1791-го по 1794-й Державин работает над огромным стихотворением «Водопад», где вновь возникает грохочущее, как водопад, бытие: всё, казалось бы, течёт, всё вспенивается и пропадает; но лишь в свершениях великих, ратных Державин находит смысл и надежду.

«Водопад» – своего рода надгробная песнь главнокомандующему русской армией на юге в минувшую Русско-турецкую, фавориту матушки государыни, фельдмаршалу Григорию Потёмкину, скоропостижно скончавшемуся в октябре 1791-го:

Не ты ль, который орды сильны
Соседей хищных истребил,
Пространны области пустынь
Во грады, в нивы обратил,
Покрыв понт Чёрный кораблями,
Потряс среду земли громами?

Не ты ль, который знал избрать
Достойный подвиг русской силе,
Стихии самые поправить
В Очакове и в Измаиле
И твёрдой дерзостью такой
Быть дивом храбрости самой?
Се ты, отважнейший из смертных!
Парящий замыслами ум!
Не шёл ты средь путей известных,
Но проложил их сам – и шум
Оставил по себе в потомки;
Се ты, о чудный вождь Потёмкин!

Известен анекдот, когда ненавидевший фаворита своей матери император Павел I воскликнул: «О, как нам поправить зло, нанесённое Потёмкиным России?» – на что получил дерзкий ответ: «Нет ничего проще: отдайте туркам Крым, Новороссию и берег Чёрного моря».

Водопад, давший название стихотворению, Державин наблюдал в Олонецкой губернии. И от этого водопада он словно бы прочерчивает линию к чудесам и красотам отвоёванных черноморских побережий, скрепляя края огромной державы.

Но в ясный день, средь светлой влаги,
Как ходят рыбы в небесах
И вьются полосаты флаги,
Наш флот на вздутых парусах
Вдали белеет на лиманах,
Какое чувство в россиянах?
Восторг, восторг – они, а страх
И ужас турки ощущают;
Им мох и терны во очах,
Нам лавр и розы расцветают
На мавзолеях у вождей,
Властителей земель, морей.

Екатерина II раздумывала, не взять ли Державина в секретари по военной части: было очевидно, что бывший боевой офицер, блистательный поэт и въедливый сановник проживает каждую военную компанию, ведущуюся Россией, как личное событие, досконально изучая каждую сводку с места боёв и глубоко понимая европейские реалии.

Год 1794-й дал ему очередные поводы и для печали, и для восхищений: в Польше началось антироссийское восстание.

В Краков прибыл Тадеуш Костюшко – легендарный польский генерал, воевавший за независимость американских колоний в войсках Джорджа Вашингтона. 6 апреля взбунтовалась

Варшава, глава российских войск барон Игельстром едва спасся, вырвавшись из города с пятью сотнями людей.

«Войска наши, в Варшаве пребывающие, почти все перебиты, в плен захвачены и весьма малое количество оных осталось, – докладывали Екатерине. – Вся канцелярия барона Осипа Андреевича Игельстрома взята и до миллиона суммы захвачено. Три племянника его убиты, а сам он неизвестно куды девался».

За ночь в Варшаве было убито четыре тысячи российских военных. Вскоре вспыхнула вся Польша, в том числе – поднялись польские части, взятые на русскую службу. Требования были просты – вернуть территории, потерянные в результате первого и второго разделов Польши, 1772 и 1793 года: Правобережную Украину, большую часть Белоруссии, часть Литвы – то есть, по большей части, когда-то ранее потерянные Россией собственные земли.

Стремительным рейдом явившийся к театру войны корпус Суворова в первые же пять дней выиграл четыре сражения подряд у превосходящих количеством и отлично мотивированных поляков, взял Брест, а затем, в жесточайшем бою, предместье Варшавы. Вскоре Суворову пришло предложение о сдаче города.

Уже в те дни Державин напишет о Суворове:

Пошёл – и где тристаты злобы?
Чему коснулся, всё сразил!
Поля и грады стали гробы;
Шагнул – и царство покорил!

Суворов, более чем польщённый, отвечает Державину письмом, и тоже стихотворным:

...О вы, Варшавские калифы!
Какую смерть должны приять!
Пред кем дерзнули быть строптивы?
Не должно ль мстить вам и карать?

– но сам себя тут же оспаривает: «Карать оставим Провиденью». И, обращаясь к Державину уже прозой, добавляет: «Гомеры, Мароны, Оссианы и все доселе славящиеся витии умолкнут пред вами».

Но с этим стихотворением Державина случился казус – несказанно обеспокоенную уже случившейся к тому времени французской революцией Екатерину возмутила в державинской оде строчка «трон под тобой, корона у ног». И хотя обращена она была к Суворову, а трон имелся в виду польский, всё это показалось императрице некоторым даже святотатством. В общем, отпечатанная отдельной книжкой ода осталась во дворце и к читателям не попала.

Зато Державин и Суворов вдруг стали приятелями.

Когда Александр Васильевич вернулся в Петербург во всём блеске своей славы, к нему едва ли не очереди выстраивались на визит, однако полководец разнообразными и весьма эксцентричными способами встреч со знатью избегал. Зато Державина, в первый же ознакомительный заезд, продержал до вечера, не без весёлой нарочитости отлынивая от встреч со всё новыми и новыми визитёрами.

Державин узнал тогда иного Суворова: аскетичного, женщин не державшего даже в прислужницах, знающего семь языков, ценящего словесность и, в частности, поэзию, из яств предпочитавшего щи и редьку, религиозного, соблюдавшего все посты, не исключая среды и пятницы, всерьёз собиравшегося уйти в монастырь – в Нилову Новгородскую пустынь. Отсюда державинские стихи:

Суворов! страсти кто смирить свои решился,
Легко тому страны и царства покорить!

В 1795 году Державин напишет стихотворение «Флот» – в связи с отбытием российской эскадры:

Водим Екатерины духом,
Побед и славы громкий сын,
Ступай ещё и землю слухом
Наполнь, о русский исполин!
Ты смело Сциллы и Харибды
И свет весь прежде проходил:
То днесь препятств какие виды?
И кто тебе их положил?
Ступай, – и стань средь океана,
И брось твоих гортаней гром:
Европа, злобой обуянна,
И гидр лилейных бледный сонм
От гроз твоих да потрясётся...

В данном случае под Европой имелась в виду Франция (в её гербе – изображения лилий), но Державин ни малейших иллюзий и по поводу всей остальной Европы не питал, уже тогда догадываясь: никаких друзей у России нет. Но нет и никакой силы в мире, что может остановить Россию.

Следующий год – ода «На покорение Дербента», обращённая к Валериану Зубову, получившему в управление армию в 25 лет:

Екатериныны лучи
Умножил ты победой новой;
Славнее тем венец лавровой,
Что взял Петровы ты ключи.

(Тогда ходила легенда, что ключи от города передал Зубову тот же человек, что вручал их 74 года назад Петру Великому; сомнительно, однако все верили.)

Годом позже Державин создаёт оду «На возвращение графа Зубова из Персии»:

О юный вождь! Сверша походы,
Прошёл ты с воинством Кавказ.
<...>
По духу войск, тобой веденных,
По младости твоей, красе,
По быстром персов покореньи
В тебе я Александра чтил!

Валериан Зубов, что бы там ни говорили, таких од стоил – место своё в истории он заработал вовсе не тем, что брат его Платон был очередным фаворитом императрицы. Героический участник штурма Измаила и двух русско-польских войн, потерявший ногу от взрыва ядра, Валериан Зубов был высоко почитаем Суворовым и обожаем в армии. Персидский поход Зубов подготовил и провёл безупречно.

Россия воспроизводила греческую и римскую историю не только на уровне метафорическом, но и в прямом смысле: русские шли по следам Македонского и были столь же неудержимы.

Державин тем временем рос в своих постах: получив должность президента Коммерц-коллегии, он продолжал заниматься, в числе прочего, расследованиями различных

махинаций – императрица называла его «следователем жестокосердным»; третью свою награду, к слову сказать, Державин получит от императрицы не за стихи, а за разработанные им тарифы.

Правда, уже после её смерти: 6 ноября 1796 года императрицу внезапно хватил удар.

При восшедшем на престол Павле I положение Державина не пошатнётся, и даже напротив: за несколько лет новый император успеет наградить сановника и поэта больше, чем его матушка за два десятилетия.

Державин получает место государственного казначея, опровергая миф, что поэты не умеют считать деньги.

Со специальными поручениями Державин несколько раз посещал Белоруссию, где обнищавшие вконец крестьяне находились в неподъёмных долгах у местных торговцев и хозяев винокурен. Там он открыл несколько лечебниц и закупил на собственные деньги хлеба для жителей двух самых бедных имений. В Витебске Державин написал «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, об их преобразовании», где в числе прочего предложил уничтожить кагалы.

Ну и, конечно же, за всей этой работой нисколько не ослабевало пристальное державинское внимание ко всем воинским удачам россов.

К 1799 году французы захватили большую часть итальянских государств, восточное побережье Адриатики, Мальту, земли германских государств в Швейцарии, Голландию, – молодой и непобедимый Наполеон мечтал идти до Индии, а пока воевал в Египте. Европа оказалась бессильной пред ним.

И здесь был вызван в действующую армию Суворов. «Бог в наказание за грехи мои послал Бонапарта в Египет, чтобы не дать мне славы победить его», – печалился Александр Васильевич.

Итальянский поход Суворова был триумфальным: русские не дошли до Генуи и Ниццы лишь потому, что английские дипломаты, доселе боявшиеся французов, теперь были озадачены тем, что Россия силой своего оружия может, наконец, занять центральное положение в Европе.

В 1799 году появятся ликующие стихи Державина «На победы в Италии», проводящие прямую линию от Рюрика до Суворова, словно говоря: прошлого нет, россы идут по своим следам, и в этом движении – наша отрада:

Так он! – Се Рюрик торжествует
В Валкале звук своих побед
И перстом долу показывает
На росса, что по нём идет.
«Се мой, – гласит он, – воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа,
Девятый вал в морских волнах,
Звезда, прешедша мира тропы,
Который след огня черты,
Меч Павлов, щит царей Европы,
Князь славы!» – Се, Суворов, ты!

Суворова тем временем переправили в Швейцарию.

В том же 1799 году Державин пишет оду «На переход Альпийских гор» – о том самом беспрецедентном суворовском походе, когда Петербург несколько раз был уверен, что Суворов разбит и пленён:

Чело с челом, глаза горят —
Не громы ль с громами дерутся? —
Мечами о мечи секутся,
Вкруг сыплют огонь, — хохочет ад.
Ведёт туда, где ветер не дышит
И в высотах, и в глубинах,
Где ухо льдов лишь гулы слышит,
Катящихся на крутизнах.
Ведёт — и скрыт уж в мраке гроба,
Уж с хладным смехом шепчет злоба:
«Погиб средь дерзких он путей!»
Но россу где и что преграда?
С тобою Бог — и сил громада
Раздвиглась силою твоей.

Страшнейший и мучительный переход, похожий вовсе не на известную картину Сурикова, а куда больше на стихи Державина с его хохочущим ледяным адом, надломил здоровье Суворова. Будучи пожалованным в генералиссимусы всех российских войск, спустя два месяца он заболел, и больше не выправился. Суворов умер 6 мая 1800 года.

В том же мае Державин сочинит своё классическое:

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдём войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

(«Снигирь»)

Тридцать с лишним лет назад Державин впервые услышал имя Суворова; четверть века назад, в Пугачёвский бунт, Суворов услышал имя Державина — и писал ему, общаясь как с равным военачальником; четыре года назад они наконец встретились — знакомство обещало долгую дружбу. И вот.

Державин осознавал величие Суворова; но мы помним, что и Суворов искал дружбы Державина, тоже понимая его масштаб.

Военный гений узнал гений поэтический: это была славная встреча, во многом определяющая звучание русской поэзии.

Здесь пришло время сказать самое главное.

Влияние поэтов преддержавинской и постдержавинской поры чаще всего точно и фрагментарно. Державинское влияние — абсолютно, в этом смысле сопоставим с ним только Пушкин.

Достаточно вспомнить, что Державин первым внёс в русскую поэзию образ автора и пейзаж. (И первую усадьбу в русской литературе — тоже описал он.) Только вообразите, какие врата были распахнуты настежь.

Державинское влияние разлито в русской поэзии как эфир.

Баратынский, Языков, Грибоедов, Лермонтов, Вяземский, Тютчев, Георгий Иванов, Брюсов, Белый, Блок, Ходасевич, Хлебников, Цветаева, Ахматова, Луговской, Заболоцкий,

Вознесенский, Парщиков, Юнна Мориц, Амелин – все перечисленные и множество неназванных имели сотни пересечений и перекличек с Державиным.

(При всём том, что Белинский, восхищавшийся Державиным, считал его «невежественным»; и в чём-то был прав, но Державин был ведом немыслимой силой интуиции куда более, чем знаниями.)

«Разбухшая метафора» (определение Л.Я.Гинзбург) Владимира Бенедиктова, звуковые повторы и корнесловие в его поэзии, – наследие Державина.

Цыганские мотивы Аполлона Григорьева были предвосхищены «Цыганской пляской» Державина.

Все водопады в русской поэзии, от Вяземского и далее, сочинялись с оглядкой на державинский водопад.

Кубофутуристы топотали наглыми ногами, сбрасывая всех подряд с «парохода современности», им подвывал эгофутурист Игорь Северянин: «Для нас Державиным стал Пушкин» (в том смысле, что Пушкин устарел так же, как давно позабытый Державин), – но при этом все они грохотали сплошь и рядом на державинский манер – и Давид Бурлюк, и Каменский, а порой даже и Северянин (куртуазность которого тоже из русского XVIII века – он просто не знал языков, чтоб учиться этому у французов).

Дело не только в том, что Державина, как и кубофутуристов, можно читать под барабан. Дело не в нарочитом косноязычии и речевых ошибках (характерных для Державина) – из чего футуристы сделали предмет стиля (на самом деле им всем – кроме Бенедикта Лившица – часто не хватало, как и Державину, элементарного образования; но задорное футурьё догадалось, что можно это не скрывать, а навязчиво выказывать).

Дело в том, что Державин как никто другой научил их разговаривать громко. (Орать не учил, но этому они сами выучились.)

И это вам не восклицательные знаки русской гражданской поэзии «шестидесятников» XX века, вытягивающих свои тонкие птичьи горла: это крик бывшего Преображенского офицера, который мог барабаны перекричать.

Если идти далее, то даже имажинистская привычка Шершеневича, Мариенгофа и Есенина опускать предлоги – и та державинская.

Обэриуты выбрались из этой, Гавриила Романовича поразившей, тарелки с кашей, как русская проза из одной шинели:

Каша золотая,
Что ты стоишь?
Пар испущая,
Вкус мой манишь?
Или ты любишь
Пузу мою?

Или из его же чудесной эпитафии «На памятник прекрасного пуделя»:

Под камнем сим Милорд, кудрявый пёс прекрасный,
Почиет погребён, счастливейший из псов:
Он ел, он пил, он спал, он вёл век свой сладострастный,
Деля жён множеству нежнейшую любовь...

И где-то здесь, в этом регистре, понемногу собирается с мыслями русская детская поэзия. Отсюда же, через обэриутов, идёт путь к российскому концептуализму.

Державин – огромен.

У М.Н.Эпштейна есть важная мысль о том, что Державин и Лев Толстой – «корневые явления русской литературы, самые мощные и жизнеспособные выходы её из народной почвы».

Державинский стих – это животворный хаос, это сталкивающиеся стихии, это мир, ещё не получивший своих окончательных очертаний, населённый титанами и тиранами, пугающий, поражающий.

Всякий описывающий подобный мир в русской литературе, или пытающийся преодолеть его, подпадал под державинское влияние: вот, навскидку, Осип Мандельштам.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна – добро живое —
Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
Ворочается счастье стержневое...

(«Ода Сталину», 1937)

Сколько бы Эдуард Лимонов ни пытался провести меж собой и русской поэтической классикой разделительных линий, но, едва запел он погребальную песню памяти своего партияца, так сразу и зазвучал – сквозь времена и просторы – державинский голос:

Долматов! Боже мой, Долматов!
Конструктор боевых ракет,
Сказал он чужеземцам «нет»!
Погиб в руках у супостатов...

(«Долматов в старом Королёве...», 2016)

Но если б только в поэзии так забавно преломлялось его влияние.

Влияние Державина на Гоголя и Салтыкова-Щедрина – отдельные темы.

Зримо и незримо Державин оказывается востребован всякий раз, когда возникает вихревой хаос, – и тогда он обнаруживается в прозе так же полновластно, как и в поэзии: у таких, к примеру, разных сочинителей, как Андрей Платонов, Борис Пильняк, а то даже и Алексей Чапыгин. И, конечно же, в передовицах, очерках и романах Александра Проханова.

Убеждённость в неисчерпаемости бытия и нерасторжимый с этим чувством ужас назойливой смерти, клочкотание и бурление жизни, слом языка, перенасыщенность метафорического ряда, ироническое отстранение при полном ангажированном личном растворении в теме, – это Державин.

Одно из наиважнейших достижений его в том, что он придал патриотизму звучание абсолютное.

Патриотизм мог тогда носить религиозный характер – приверженность вере православной, мог иерархический – приверженность русскому царю, мог родовой – любовь к отеческим могилам, мог – обрядовый, песенный, языковой... Державин сплёл всё это в единый

венки: историю, государственничество, религиозность, верность престолу, верность культурным кодам, гражданское чувство, чувство моральное и чувство воина, россы-победителя.

(Само звучание фамилии его знаково: виднейший русский поэт действительно являл собой воплощённое державное чувство. Вдвойне забавно, что сражался он с бунтовщиком Пугачёвым. Судя по этим фамилиям, перед нами – нравоучительная пьеса эпохи классицизма, а не реальная историческая эпоха.)

Если называть вещи своими именами: Державин – певец экспансии.

Разнообразные его уроки были учтены почти всей русской поэзией, но в данном смысле стоит назвать как минимум три имени, берущие начало в державинских одах: конечно же, Пушкин, безусловно, «грубый» и «гиперболический» революционно-военный Маяковский и, со всей очевидностью, Бродский – с одой Жукову; хотя точно не только с ней.

Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
В смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьи тупей,
блеском манёвра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоры.
Всё же прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегирия.

(«На смерть Жукова», 1974)

Не высказанный напрямую, но безусловно осязаемый завет Бродского заключается в том, что, говоря о самых важных вещах – в числе которых было и весьма весомое в его поэтическом мире понятие «империя», – он не видел ни одной причины ссылаться на такие понятия, как «прогресс», и прочую ложную «моральность» новых времён. «На смерть Жукова» вопиет о другом: нет никакого смысла менять интонацию (и даже стихотворный размер), говоря о русских победах полтора века спустя после написания державинского «Снигирия»: вокруг нас – те же самые античные герои.

Победы и смерть героя, говорит Бродский, подлежат лишь Господнему суду; суетливому человеческому суду всё это не подсудно. Ибо кто тут вправе оспорить сказанное героем: «Я воевал». А то, что герой в аду, – так кто из вас уверен, что попадёт в рай? Судя по всему, там и ад особый, солдатский: сухой и выжженный, как отвоёванная степь.

Именно у «грубого» и «невежественного» Державина Бродский позаимствовал то, в чём его едва ли не чаще всего упрекают: высокий штиль, в которой там и сям вдруг врываются совершенно, казалось бы, неожиданные вульгаризмы.

Другой общеизвестный приём Бродского: пафос, вывернутый наизнанку (в том числе за счёт использования архаических форм). Взгляните, к примеру, вот Державин:

И се, как ночь осенняя, тёмна,
Нахмурясь надо мной челом,
Хлябь пламенем расселась чёрна,
Сверкнул, взревел, ударил гром;
И своды потряслися звездны:
Стократно отгласились бездны,
Гул восшумел, и дождь, и град,
Простёрся синий дым полётом,
Дуб вспыхнул, холм стал водомётом,
И капли радугой блестят.

(«Гром», 1806)

И тут же, не меняя интонации, продолжаем:

Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке – Солдат и Дура.
.....
Луна сверкает, зренье муча.
Под ней, как мозг отдельный, туча...

(«Набросок», 1972)

Сравните также постсоветские саркастические мотивы Бродского в описании бывшей Отчизны с державинским:

Печальная страна
Вокруг молчит,
Из облаков луна
Чуть-чуть глядит.

(«Персей и Андромеда», 1807)

А эти их, наконец, почти бесконечные сочинения на вольные темы – будь то державинские, в сотню строк, рассуждения о его собачке, или такой же бесконечный свиток, по которому ползает муха Бродского?

В целом мир Державина – населённый императорами и полководцами (и, что скрывать, девками), мир с громыхающими водопадами и холмами, и ещё с книжкой, скажем, Горация, в теньке на лавочке, – это и мир Бродского.

(А над всем этим Бог – для Бродского точно не новозаветный, а ветхозаветный, но, кажется, порой и для Державина тоже – его Бог суров и бесстрастен, он считает отдельных людей, не деля на царей и рабов; впрочем, богоизбранных россов отмечает и помогает им.)

Есть, конечно же, разница в том, что Бродский в силу разных причин менял ландшафты, а Державин, имея все возможности путешествовать по европам, из России даже не выезжал.

Однако отличное осознание своего (первого) места в поэзии, замешанное при этом на жестокой, аристократической самоиронии, – тоже мало кого единит в той мере, как Бродского и Державина.

Бывали в случае Державина и более неожиданные переключки – к примеру, с поэтом Павлом Коганом, погибшим в 1942 году.

Но мы ещё дойдём до Ганга,
Но мы ещё умрём в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
<...>
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я – патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю.

Эти стихи, написанные Коганом в 1940–1941 годах, пра-основой имеют, конечно же, державинское:

Я рад отечества блаженству:
Дай больше, небо, таковых,
Российской силы к совершенству
Сынов ей верных и прямых!
Определения судьбины
Тогда исполнятся во всём;
Доступим мира мы середины,
С Гангеса злато соберём;
Гордыню усмирим Китая,
Как кедр, наш корень утверждая.

(«Мой истукан», 1794)

Удивительно, но для Ходасевича, написавшего о Державине целую книгу, всё милитаристское в его персонаже любопытства не вызывает и, по сути, игнорируется – Ходасевич посвятил военным одам своего героя полторы страницы, где первым делом посчитал нужным написать, что Державин был «вполне убеждённым противником войны».

Да, однажды Державин обронил, что война – «забава для черни»; но вот, пожалуй, и всё. Действительно, если ты воспринимаешь войну как забаву – ты чернь; для воинов же

война – труд и жертвенный путь. Ходасевич в данном случае выглядит почти анекдотично: едва ли не треть лучших стихов Державина написана о воинских победах россов.

«Противником войны» был разве что сам Ходасевич, а Державин был обычным русским человеком, войны не искавшим, но когда она являлась сама – её не бежавшим.

Но чего мы, собственно, хотим от Ходасевича? Это же дети Серебряного века – кто-то придумал уже тогда, что преклоняться пред империей и воспевать Отечество, тем более его военные победы, – моветон; на впавших в «патриотический раж» тогда смотрели в лорнет, свысока... впрочем, потом эта снисходительность поистерлась в европейских скитаниях, а к некоторым, кто дожил, хоть и запоздало, но пришло отрезвление. Вдруг возникли и гордость, и печаль от невозможности в полной мере разделить счастье русских побед. И выяснилось, что все они – «Леонтьева и Тютчева сумбурные ученики» (это Георгий Иванов, и ключевое слово тут – «сумбурные»).

Державин преподавал важнейший, донныне кажущийся для многих недостижимым урок: он мог ревностно, упрямо, последовательно служить не только Родине, но и государству, которые досужие мыслители новых времён так полюбили разделять (покажите место надреза! а то всё кажется, что пилят по живому телу), – и остаться при этом великим поэтом.

Между прочим, в 1800 году Державин получает чин действительного тайного советника. «Выше, – отмечает Арсений Замостьянов, – только одна ступень, на которую за всю историю Российской империи шагнули 13 человек: действительный тайный советник 1-го класса».

В новом, XIX веке, уже при императоре Александре, Державин успел побывать министром юстиции и генерал-прокурором, но в октябре 1803 года его «уволители от всех дел».

Один из первых биографов Державина, Семён Моисеевич Бриллиант, писал: «...Во всех замыслах Александра Державин являлся тормозом, вечно видел кругом, в лучших людях, его окружавших, какие-то польско-еврейские интриги, всех министров также подзревал в интригах то против Александра, то против себя как единственного правдолюбивого охранителя. Эту роль он брал на себя до такой степени, что государю трудно было сохранить хладнокровие и не обидеть старика».

«Ты очень ревностно служишь», – сказал Александр Державину однажды.

И в другой раз, почти обиженно, бросил: «Ты меня всё время учишь».

Что ж, живи неучёным, государь-батюшка.

Характер у Державина, что и говорить, был вздорный; но разве о себе радел он?

Получив отставку, Державин переехал в Новгородскую губернию – усадьба его была в деревне Званка (её приобрела вторая жена Державина, Дарья Дьякова, ещё в 1796 году), и там, почти безвыездно, жил. В этом тоже есть что-то античное, только навыворот – не в Тавриду он устремился, не к тёплому морю, а к варяжским холодам.

Стихи его ещё при жизни стали изучать в университетах и гимназиях.

Петь славу русского воинства Державин не перестал до самой смерти своей, и успел прославить героев 1812 года:

Французов русские побили:
Здоровье храбрых войнов пьём!
Но не шампанским пьём, как пили:
Друзья! Мы русским пьём вином.
Подай нам добрый штоф сивухи,
Дай пива русского кулган.

(«Пирушка англичан в Петербурге, по случаю полученных известий о победе русскими французов»)

В годы войны он дружил с казачьим атаманом Матвеем Платовым и переписывался с Кутузовым, после смерти которого в 1813 году напишет:

Се мать твоя, Россия, – зри —
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари!

Умер Державин 8 июля 1816 года в своей званской усадьбе, и похоронен был на земле Новгородской в Хутынском монастыре.

Памятник Державину в Казани установили 23 августа 1847 года. Это был первый памятник поэту в России.

Услышь, услышь, о ты, вселенна!
Победу смертных выше сил;
Внимай, Европа удивленна,
Какой сей россов подвиг был.
Языки, знайте, вразумляйтесь,
В надменных мыслях содрогайтесь;
Уверьтесь сим, что с нами бог;
Уверьтесь, что его рукою
Один попрёт вас росс войною,
Коль встать из бездны зол возмог!

Имя его – Гавриил – в переводе означает «божественный воин».
Первый памятник поставили правильному поэту.

«Брань кровавую спокойным мерил оком» Адмирал Александр Шишков



Такого персонажа даже в русской литературе, где кого только нет, – поискать.

Адмирал, ретивый вояка, участник сражений.

Вместе с тем – автор детских книжек и, пожалуй, основатель детской литературы в России.

Напишет детскую книжку – и на войну, напишет ещё – и в поход.

Ощущение при этом от Шишкова устойчивое: он никогда не был юным, всегда был почтенным мужем – степенный, глубокомысленный.

Он стал главой Академии Российской, его, как мало кого вообще, ругали за дикое ретроградство, – но шум стихал, и даже клявшие его осознавали, что в сказанном Шишковым достаточно здравого смысла, и те пути, что он предлагал в развитии жизни народной и русской культуры, – были, в сущности, верными.

Что-то есть мистическое в том, что Шишков однажды заснул и проспал кряду несколько недель. Его наблюдали врачи – и в какой-то момент увидели, что он не дышит. Объявили скорые похороны, сообщили императору Николаю I.

Тот, осознавая безусловное значение усопшего для России, вскоре приехал. Когда император, остановившись возле дома, прислал своего камердинера, – Шишков проснулся, уселся на своей кровати и успел надеть халат. Кто-то из вошедших упал в обморок.

Примерно так его творческая судьба и складывается. Шишков спит, Шишкова всё собираются и собираются хоронить, вот уже и приходят за ним, а он опять в халате. «Вам что, любезные?»

...А начинался род Шишковых так.

Некто Юрий Лозинич прибыл в 1425 году из Польши на службу к великому князю тверскому Ивану Михайловичу. У Лозинича был правнук Микула Васильевич по прозвищу Шишка. Он и положил начало Шишковым.

Род Шишкова – двадцать одно колено. Аксаковы, Набоковы, Толстые, Языковы и Шишковы – все эти фамилии родственны.

Десятый правнук Микулы Васильевича Шишки – Александр Семёнович Шишков – родился 9 марта 1754 года в семье помещика, инженер-поручика Семёна Никифоровича

Шишкова и его супруги Прасковьи Николаевны. В семье было шесть сыновей и дочь. Шишковы владели деревенькой неподалеку от города Кашина – 15 душ.

В 1767 году Александр поступает в Морской кадетский корпус. В 1771-м он – уже гардемарин – направлен в Архангельск: первое плавание команда гардемаринеров должна была совершить в Петербург.

Корабль потерпел крушение у острова Борнхольм. Команда спаслась, но, пока за ними не приехали, жили они в Швеции.

Иной забросил бы морское дело, когда всё так начинается. Тем более что богатырским здоровьем Шишков не отличался, и всякий последующий его поход будет преодолением себя и борьбой с хворобами и простудами. Но нет, службы не оставлял.

Шишков окончил корпус лучшим учеником и в 1772 году получил звание мичмана. Ближайшие годы этот молодой человек, обладающий редкими (тем более – для его возраста) знаниями в морском деле, преподаёт в своём корпусе.

В 1776 году 22-летний Шишков получает назначение на фрегат «Северный орёл» и в июне уходит в плавание. Задача была: провести в Чёрное море через Средиземное и Мраморное, через Дарданеллы и Босфор три военных судна – «Павел», «Григорий» и «Наталья», замаскированных под купеческие корабли и шедших под торговым флагом.

Вышли из Балтики; видели Италию и Грецию.

(Вырос Александр Семёнович в семье по-настоящему религиозной, сам был богобоязнен; одно из удивлений его путешествия было связано с тем, что в греческих часовнях столкнулся с французскими военными, которые рисовали на иконах, оставляя забавные, как им казалось, надписи. А тоже ведь христиане. «Для чего турки не обезобразили сих часовен?» – задался Шишков вопросом; в том смысле, что даже турки такое не творили: а просвещённым французам – зачем?)

Наконец – турецкие воды. Турция на тот момент – совершенно определённый враг России, она только что потеряла Крым.

Пушки на «купеческих» судах были зарыты в песок, турецкие пограничники тыкали длинными палками в поисках военной контрабанды – Шишков как раз при этом находился. Ничего они не нашли; но и корабли не пропустили.

В 1777 году Шишков на купеческом судне прибыл в Азов с секретными бумагами, затем сухопутным путём вернулся в Кронштадт. В том же году он производится в лейтенанты.

В 1778-м Шишкова направляют с дипломатическими бумагами уже в Неаполь; он на отличном счету.

Спустя год, в 1779-м, возвращается преподавателем морской тактики в кадетский корпус.

Свободно владеющий как минимум тремя иностранными языками Шишков переводит с французского книгу Ш.Ромма «Морское искусство, или Главные начала и правила, научающие искусству строения, вооружения, правления и вождения кораблей» – для обучения своих кадетов, и мелодраму «Благодеяния приобретают сердца» – уже с более узкими целями, литературными.

Наименования его первого литературного труда (пусть и переводного) сразу характеризуют автора как человека, склонного к добротолению и некоторой нравоучительности.

Следом он приступает к составлению «Трёхязычного морского словаря на Английском, Французском и Российском языках в трех частях»: начинается колоссальная работа по сбору специальной морской терминологии, на русском языке до тех пор толком не систематизированной.

В 1780 году пишет первое собственное произведение – небольшую драму «Невольничество» о том, как императрица Екатерина II пожертвовала деньги на выкуп проданного тур-

ками в Алжир русского матроса (и заодно других оказавшихся там христианских невольников).

Писалось «Невольничество» в надежде и даже в расчёте на внимание самой императрицы: главой придворного театра был тогда Василий Бибиков, женатый на двоюродной тётке Шишкова. Бибиков, представляя пьесу на сцене, желал сделать Екатерине сюрприз. Тогда шли разговоры, как недавно разом двинулась вверх карьера доселе мало кому известного Гавриила Державина, написавшего оду «Фелица»: государыня ценила умные комплименты.

«Невольничество» было показано как минимум дважды, и вроде бы с успехом, на втором представлении присутствовал приехавший в Санкт-Петербург автор, но чудеса, что случились с Державиным, не повторились. По крайней мере, в этот раз: благосклонность императрицы Шишков заработает позже – подвигами не литературными, а военными.

В Шишкове уже в молодости чувствовался переизбыток сил, вообще характерный для русского XVIII века – страна с огромной, но словно подёрнутой дымкой историей вдруг, с подачи Петра Великого, ощутила себя совсем молодой, готовой к учёбе с чистого листа, к ратному труду, к жертвам и свершениям.

Заводя разговор об этом веке, неизбежно вспоминают Ломоносова (их с Шишковым многое объединяет: перед нами мощные русские характеры, трудоголики и упрямцы). Однако далеко не одним Ломоносовым славно то время.

Век дал целую плеяду военачальников, зачастую не чуждых искусств, – сразу на ум приходит имя ценителя поэзии (а также в некотором роде сочинителя, причём иногда и в рифму) Александра Васильевича Суворова, но разве только он: сама императрица Екатерина II была автором пьес и корреспонденткой Вольтера и, смеясь, говорила, что хотела бы оказаться военачальником, но, зная свою горячую голову, предполагала, что «была бы убита в первом бою в чине конного поручика».

Драматург Михаил Иванович Верёвкин, родившийся в 1732-м, тоже окончил Морской корпус, десять лет служил во флоте, а потом ещё участвовал в подавлении пугачёвщины, а затем был переводчиком при Екатерине II, а после стал членом Российской Академии наук; перевёл двенадцать томов «Всеобщей системы воспитания» Эберта и Штрека и принимал участие в создании «Словаря Академии Российской».

Писатель Михаил Матвеевич Херасков, родом из валашских дворян Хереско, переселившихся в Россию при Петре, родился в 1733 году, девять лет учился в кадетском корпусе и три года потом был на военной службе; позднее возглавлял Московский университет, где ведал библиотекой, типографией и театром; начал издавать первые московские литературные журналы; получил должность вице-президента Берг-коллегии, ведавшей... горной промышленностью; открыл при университете Благородный пансион, где позже будут учиться Жуковский, Грибоедов, Иван Петин, Владимир Раевский, Лермонтов и Тютчев; написал поэму «Россиада», воспевавшую победы российского воинства.

Драматург и переводчик Владимир Игнатьевич Лукин, даром что родился в семье лакея (в 1737 году), – получил прекрасное образование, владел немецким, французским и латынью; служил в Преображенском полку, воевал в Семилетней войне; из преображенцев уволился в 1762 году – в тот год, когда в полк пришёл служить Державин, – и начал работать в Императорской Академии наук и художеств, переводить новейшую французскую драматурию и одновременно создавать новейшую русскую драму.

Писатель, интереснейший мемуарист, драматург и учёный, один из самых образованных людей своего времени, Андрей Тимофеевич Болотов, родившийся в 1738-м, также принимал участие в Семилетней войне, а потом, почти одновременно с Шишковым, занялся... детской литературой. Тогда россы будто вдруг выяснили, что детей, оказывается, можно вос-

питывать не только в старинных дедовских обычаях, а при посредстве увлекательных стихов и нравоучительных бесед.

В 1744 году родился Николай Иванович Новиков – писатель, журналист, книгоиздатель, просветитель, – и офицер, служивший в Измайловском полку; выйдя в отставку, он издавал под патронажем императрицы Екатерины II первый сатирический журнал в России, а потом ещё четыре журнала, в том числе философский – «Утренний свет», а потом ещё и первую в России газету европейского типа «Московские ведомости» (но, что характерно, при поддержке масонов); тоже занимался детской литературой – в частности, выпустил «Детское чтение» (первый в России такого рода журнал), издал бессчётное количество азбук, букварей, грамматик и арифметик, книг по агрономии и медицине, под его патронажем выходила вся новомодная и наиважнейшая европейская философия, и он же подготовил первый «Опыт исторического словаря о российских писателях».

В 1746 году родился Василий Алексеевич Аёвшин – писатель, фольклорист и переводчик, офицер, воевавший в Русско-турецкую 1768–1774 годов; следом мы видим его в качестве члена Королевского саксонского экономического сообщества и Итальянской академии наук; написал 90 томов сочинений: начал с книги «Загадки, служащие для невинного разделения праздного времени», а закончил учебником по сельскому хозяйству; перевёл целую библиотеку немецких рыцарских романов, написал поваренный словарь, пособие по домоводству, несусветное количество прочих полезных и умных книг, а кроме всего прочего – несколько сборников оригинальнейших сказок.

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий родился в 1752 году, пятнадцать лет отдал воинской службе, тоже участвовал в войне с Турцией 1768–1774 годов, был при штурме Бендер; после занимался дипломатической работой, возглавлял Московское главное народное училище, стал сенатором, то попадал в опалу, то его приближали к царской семье, переводил Вольтера, известен как автор патриотических и религиозных стихов, а также песен, которые стали народными, – «Выйду я на реченьку», «Ох, тошно мне...».

Михаил Никитич Муравьёв, писатель и общественный деятель, родился в 1757 году; после четырнадцати лет воинской службы он – личный преподаватель великих князей, товарищ народного министра просвещения, реформатор, один из создателей Ботанического сада и Музея натуральной истории; автор басен, похвальных од, родоначальник русского сентиментализма в поэзии и, наконец, отец двух будущих декабристов.

Всё это – современники Шишкова, явившиеся на свет немногим раньше или немногим позже его. Военные, просветители, преподаватели, академики, поэты, философы, дипломаты, издатели – причём едва ли не каждый из них одновременно выступал сразу в нескольких из этих ипостасей. Любой из названных, перефразируя Пушкина, был и первым российским университетом, и детским воспитателем, и дипломатической службой, и воителем империи, и строителем её, и певцом.

Но на этом фоне – людей мужественных и умнейших (или, как минимум, оригинальных) – Шишков стал одним из центральных персонажей русской словесности и некоторое время оказывал определяющее влияние на идеологию империи. Жизнь свою он прожил так, что в сочинениях всех виднейших современников остались десятки упоминаний его имени: от негодующих до восторженных.

В 1783 году Шишков переводит с немецкого «Детскую библиотеку» Кампе: эта книжка станет самым значимым и популярным детским чтением более чем на полвека вперёд.

В 1858 году, 75 лет спустя, Сергей Аксаков в сочинении своём «Детские годы Багрова-внука» напишет, что «Детская библиотека» Шишкова «до сих пор остаётся лучшею детскою книгою», и стихи, там помещённые, являются «истинными сокровищами для детей».

Знаменательно, что Кампе издал свою «Детскую библиотеку» всего за четыре года до выхода её перевода в России.

Впрочем, едва ли это стоит называть в полном смысле слова переводом. Дело не только в том, что многое там было видоизменено до неузнаваемости и переписано с расчётом на русского читателя.

Остроумно подмечено, что Шишков переводил на язык, которого не существовало: он заложил основы русской детской поэзии, написанной тем лёгким и простонародным слогом, откуда рукой подать до Пушкина, Ершова, детских стихов Кольцова и Сурикова.

По сей день стихи, написанные Шишковым – вообразите себе, в 1783 году! – поражают своей ясностью и лёгкостью:

Как громко в долине
Поёт соловей!
Ах, вон на вершине
Поёт соловей!
Ах, вон на вершине
Сидит он, ей-ей!
Тихонько бегите,
Чтоб он не слетел,
И песни хвалите,
Чтоб долее пел.

Если что и может удивить сегодняшнего читателя в том детском сборнике, так это присутствие стихов об умирающей двенадцатилетней девочке: «Смерть сожаления не знает, / Кто должен умереть – умрёт». Мать рыдает, а девочка объясняет ей, что «...к Богу мило-серду / с охотою моей иду»:

Сие сказав, она вздохнула,
Рукою сотворила крест,
На мать впоследние вздохнула
И отошла от здешних мест.

Детская смертность тогда была огромна: из многодетного семейства иной раз до совершеннолетия не доживала половина детей – Шишков, по сути, описывал всем известную обыденность, вроде игры в снежки или поиска поющего соловья. Вероятно, что Эдуард Багрицкий, автор «Смерти пионерки», читал, как и сотни тысяч российских детей, книжку Шишкова в детстве: оставленное ей неизгладимое впечатление преобразилось затем в классические стихи, написанные, заметим, с противоположным смыслом – пионерка Багрицкого от предлагаемого матерью крестика отказывается.

Шишков по-прежнему занимался преподавательской и переводческой деятельностью, продолжая готовить морской словарь, и это не было частной забавой никому ещё не известного лейтенанта. Несмотря на все старания Петра Великого, русские оставались по большей части нацией сухопутной; дворяне зачастую даже плавать в речке не учились, морей в глаза не видели, поэтому во флот стремились крайне редко.

Преподавали англичане, добрую половину офицерского состава представляли выходцы из прибалтийского края или иностранцы, хотя матросов набирали в основном из русских мужиков. (Сам Шишков в 1786 году командовал 35-пушечным фрегатом «Ярославец», совершавшим учения в Балтийском море.)

Екатерина II деятельно, наследуя Петру Великому, интересовалась флотом – от него, как скоро мы поймём, напрямую зависела жизнеспособность империи.

Шишков же понимал, что и переводческая, и преподавательская деятельность его – лишь подготовка к самому важному событию, где проверяются знания и стать офицера: войне.

Война не просто воспринималась как неизбежность – зачастую на неё надеялись, как на способ разом преодолеть всякие иерархии, что неизбежно складываются во времена мирные на основаниях, зачастую не связанных с доблестью или умом.

Однако на Северном флоте, увы, опыта даже просто морского, а тем более военного у личного состава было крайне мало; в то время как положение обязывало быть готовым к неприятностям.

Пока на юге назревала очередная война с Турцией, в Швеции в 1772 году Густав III устроил переворот. Прежде Россия выступала гарантом конституции Швеции – и Густав III это положение отменил. Теперь против него была настроена часть шведского дворянства. Он же надеялся упрочить своё внутреннее положение за счёт войны с Россией и выжидал подходящей политической ситуации. Основной целью Густава III было вернуть территории, потерянные в результате прошлых войн: а именно – те части принадлежавшей тогда шведам Финляндии, что были получены Россией по Ништадтскому и Абоскому договорам.

Между тем в районе Архангельска и Риги у России было менее 15 тысяч войска.

С флотом дело обстояло несколько лучше: в Балтийском море имелось 40 линейных кораблей (хотя только половина из них могла быть использована в сражениях) и 25 фрегатов. Густав же имел в распоряжении 23 линейных корабля, 11 фрегатов и 140 единиц гребного флота, на который у него были особые виды.

Все самые худшие предположения оправдались: в 1787-м началась война с Турцией, и в самый её разгар, 21 июня 1788 года, шведская армия в количестве 38 000 человек под командованием самого короля Густава III вторглась на территорию России. Шведский флот выдвинулся на полторы недели раньше.

Швеция предварительно заключила союзный договор с Турцией. Тайно Швецию поддерживали Великобритания и Пруссия, настоятельно требовавшие от союзницы России Дании расторгнуть с нами всякие отношения.

Начав войну, Густав III выдвинул требование вернуть Швеции утерянные территории и, свыше того, отдать Турции недавно присоединённый Россией Крым; так что парадоксальным образом Шишкову придётся воевать в Балтийском море и за Крым тоже.

Екатерина II в ответ выслала шведское посольство из Петербурга; хотя, признаться, успеха в начавшейся кампании России ничего не предвещало.

Планы у Густава III были воистину королевские: он намеревался выиграть генеральное сражение на море, блокировать Кронштадт, посадить на вдосталь заготовленные гребные суда 20-тысячный корпус, войти в Санкт-Петербург (там не было никаких войск) и продиктовать мирные условия.

Его расчёт был более чем реален. Достаточно сказать, что в Санкт-Петербурге круглосуточно держали наготове 500 лошадей для того, чтоб двор в случае опасности успел стремительно покинуть стоящий безо всякой защиты город.

Немногим лучше обстояли тогда дела на флоте: Шишков видел, что суматоха царила несказанная. Выяснилось, что команды не укомплектованы более чем наполовину – пришлось срочно набрать рекрутов, которые и моря не видели, и на палубу ступали впервые, что уж говорить про морские сражения. в дополнение к этому рекрутов загнали, пока форсированным маршем их перебрасывали к месту действия, и вид они имели жалкий вдвойне.

Тем не менее высочайший приказ был получен: «Следовать с Божьей помощью вперёд, искать флот неприятельский и оный атаковать».

Шишков с ног сбивался, пытаясь хоть чему-то научить новобранцев. Времени, по большому счёту, хватило только на то, чтоб совместно помолиться.

Первое сражение случилось 6 июля 1788 года у острова Го гланд в Финском заливе.

Русские имели 17 линейных кораблей, шведы – 16 линейных кораблей и 7 фрегатов. У нас на кораблях необстрелянные рекруты ещё пытались разобраться, где быть, что делать, куда бежать и как спастись; шведы же, бывалые флотоводцы, имели традиционно вышколенную и опытную команду.

Настроены они были самоуверенно и почти празднично.

У нас боевой дух подняли как смогли: налили всем водки.

Началось дело ужасно.

В те времена сражения проводились, с позволения сказать, чинно: корабли выстраивались в линию и стреляли друг в друга, пока не получали искомых результатов.

В три часа дня шведский флот в идеальном порядке подошёл к российскому на расстояние пушечного выстрела. Но пока наши корабли перестраивались в линию, три из них сильно отстали, а ещё три слишком вышли вперёд. В итоге получилось, что поначалу шведы имели 12 кораблей против 7 русских.

Надо отдать должное командующему российским флотом адмиралу Грейгу: невзирая на свершающуюся на его глазах катастрофу, он выказал нерушимое спокойствие, первым отдал приказ открыть огонь и направил свой корабль в атаку на шведов.

Вскоре сражение стало всеобщим; шла непрерывная пальба. Линии уже никто не держал, воцарился хаос. Но и в этом хаосе впервые угодившие в кровавую морскую переделку русские моряки выказали неожиданную стойкость – видимо, от безысходности.

И хотя полный состав российского флота собирался в течение всего боя, нам удалось вывести из строя несколько шведских кораблей, в том числе контр-адмиральский корабль. В половину седьмого вечера его, побитого русской картечью, утащил буксир (причём русские пытались нагнать шведов на шлюпках!).

«Ветер мало-помалу стих совершенно, стоял такой густой пороховой дым, что невозможно было разобрать ни сигналов, ни взаимного положения судов, так что приказания приходилось рассылать на шлюпках», – сообщают историки.

В семь вечера оба флота вновь выстроились друг напротив друга – и затеяли ещё на три часа пальбу.

Самые большие потери понёс вице-адмиральский корабль шведов «Принц Густав», где погибла треть экипажа. В конце концов на корабле был спущен флаг и «Принц Густав» сдался: в плен были взяты вице-адмирал Вахтмейстер и 539 человек команды.

Русские тоже потеряли один корабль, который при попытке перестроиться попал в середину шведского флота, и, лишённый какой бы то ни было помощи, после двух тысяч нанесённых по нему выстрелов и потери 260 человек, сдался: их просто убивали в упор.

К утру шведы отступили в направлении Свеаборга.

Русские потеряли убитыми 580 человек, 720 ранеными и 470 попали в плен вместе со своим кораблём (всего – 1770 человек).

Общие шведские потери составили 1150 человек (в том числе пленённых на «Принце Густаве») – разница в потерях во многом объясняется отличной выучкой шведских команд.

С другой стороны, если б погода была ветреная и кораблями пришлось управлять – поражение нашего флота было бы неминуемо. Шведы просто не знали, с кем они воюют, иначе затянули бы русский флот дальше в море и расстреляли все пошедшие вкривь и вкось корабли по одному.

Однако результатом сражения стало всё-таки отступление шведов, и план Густава III, рассчитывавшего на немедленную победу в морском сражении, провалился.

Необстрелянные рекруты, впервые увидевшие так много воды, героические офицеры и адмирал Грейг спасли, ни больше ни меньше, Санкт-Петербург от шведской оккупации.

В том году крупных сражений больше не было; но, окрылённые победой, российские корабли блокировали южную Финляндию.

На суше шведы в боях с русскими отрядами тоже успехов не добились.

У Екатерины, совсем недавно всерьёз собиравшейся оставить Петербург, появилась новая забота: финские конфедераты, недовольные Густавом III, предложили ей взять Финляндию под протекторат. (Забегая вперёд, сразу скажем, что она решила этого не делать, и Густав III всех «сепаратистов» вскоре, увы, казнил.)

Зима началась рано, и в октябре русский флот возвратился в Кронштадт.

О мире речи не шло: Густав III надеялся на реванш в следующем году.

За зиму шведы набрали новых моряков, образовали два новых полка, вооружили 21 линейный корабль и 13 фрегатов.

Русские не дремали тоже: всю зиму Шишков гонял своих учеников на занятиях в кадетском корпусе, а едва сошёл лёд – начали проводить морские учения.

Адмирал Грейг безвременно скончался, флот возглавил адмирал Василий Яковлевич Чичагов.

В конце июня российский флот вышел из Кронштадта.

Во второй половине июля противники увидели друг друга.

В записках об адмирале Чичагове Шишков вспомнит, как адмирал велел матросам купаться на виду у неприятеля, выказывая тем самым полное к нему пренебрежение.

Решающее сражение случилось к юго-востоку от Эланды 26 июля, в два часа дня.

Шведы выставили 21 линейный корабль, в числе которых был российский, захваченный год назад, и 8 тяжёлых фрегатов. Русские – 19 линейных кораблей; однако артиллерии мы имели больше.

Выстроившись в линии, оба флота в течение шести часов обстреливали друг друга из крупнокалиберных орудий. Чичагов, хоть и обладавший огромным опытом, вёл себя куда аккуратней покойного Грейга и слишком сближаться с противником не спешил.

Впоследствии легендарный российский адмирал Фёдор Ушаков назовёт Эландское сражение «ленивой баталией».

Как бы то ни было, во время боя три шведских корабля были уведены буксирами.

Русские по собственной оплошности едва не потеряли один из кораблей; Шишков пишет, что из порохового погреба корабля «Дерись» во время боя повалил страшный дым, команда поняла, что в минуту должен случиться взрыв – и всем смерть. Шлюпки, стоявшие у корабля, тут же отплыли, несколько матросов бросились с борта в воду, но утонули (по всей видимости, матросы просто не умели плавать). Наконец, мичман Насакин закричал: «Что стоите, ребята? Страхом не избавить от смерти!» – и бросился в пороховой погреб. Самые смелые последовали за ним – и пожар потушили.

Русские в сражении потеряли убитыми и ранеными 210 человек, в том числе командира корабля «Мстислав» – Григория Ивановича Муловского, который собирался совершить первое в России кругосветное путешествие (и это сделает Крузенштерн).

Шишков в бою показал себя отлично и был произведён в чин капитана 2-го ранга (в переводе на армейские чины – подполковника).

Определённой победы в этой баталии не одержал никто; однако шведы, вновь потеряв инициативу, ушли в порт Карлскрон – а русские плавали возле, показывая, что хозяева теперь здесь они.

Военные историки видят достижения Чичагова именно в этом: не одержав прямой воинской победы, он, тем не менее, смело увёл флот далеко от Финского залива и в чужих водах навязал свою волю.

У Карлскрона, судя по записям Шишкова, происходили свои приключения: однажды, к примеру, несколько шведских кораблей совершили обманный манёвр и попытались увести за собой два фрегата и один линейный корабль русских, чтобы посадить на мель, – но их намерение было разгадано. По всей видимости, в этой ложной погоне участвовал и Шишков.

Мелкие стычки и позиционные передвижения длились ещё целый месяц. В конце августа после шестинедельного крейсирования русские вернулись в Финский залив.

Но война продлилась и на следующий год. На этот раз Шишков воевал в составе эскадры вице-адмирала Александра Ивановича фон Круза.

Шишков вспоминает, как в кронштадтском канале специально к войне построили «восемь гребных фрегатов, которые с великим трудом едва... dokonчены и тот же час выведены были из гавани... Один из сих фрегатов поручен был под моё начальство».

Он был назначен командиром 38-пушечного гребного фрегата «Св. Николай».

«Лишь только флот наш, – пишет Шишков, – снялся с якоря и отошёл от Кронштадта, не далее тридцати или сорока вёрст, как уже встретился с неприятельским флотом и вступил с ним в сражение, продолжавшееся с некоторым промежутком от утра до вечера. Ничего особенного в сей день не произошло, кроме обычных следствий битвы...»

Сама скромность! Придётся нам рассказать об этом деле чуть подробнее.

Шведская эскадра под командованием Карла Зюдерманландского шла на восток, намереваясь прорваться к Санкт-Петербургу: в этой неотступности от одной и той же идеи чувствовалась уже некоторая маниакальность.

Вице-адмирал Круз, имея под своим командованием 17 линейных кораблей, 4 фрегата и 2 катера, вышел в море 12 мая для поиска и перехвата шведского флота.

17 мая Круз, узнав о появлении шведского флота у Го гланда, запросил в своё распоряжение 8 новых гребных фрегатов (одним из которых командовал Шишков). 20 мая фрегаты присоединились к эскадре.

Утром 21 мая противники увидели друг друга: в Финском заливе Балтийского моря, северо-западнее деревни Красная Горка.

Русский флот включал в себя 17 линейных кораблей, 4 парусных и 8 гребных фрегатов, 2 катера (всего 1760 пушек и 600 мелких орудий). Шведский флот насчитывал 22 линейных корабля, 8 линейных и 4 малых фрегата и несколько вспомогательных судов (всего 1200 пушек и 800 мелких орудий).

Любопытный факт: на гребных фрегатах – в том числе, видимо, шишковском – в качестве гребцов использовались пленные турки. Шишков пишет, что насущной необходимости в турках не было: их привезли и усадили на фрегаты «единственно для некоего укора шведам, состоящего в том, чтобы они видели против себя тех самых союзников своих, магометан, за которых они ополчились против нас войною».

Шведам, ратующим за возврат Крыма, императрица, по чьему-то безжалостному совету, ответила таким остроумным способом.

Казалось бы, про этих несчастных турок шведы могли узнать только в том случае, если б пленили один из фрегатов. Но, с другой стороны, сражения зачастую происходили на расстоянии даже не ружейного, а пистолетного выстрела – так что и лица можно было бы рассмотреть, и голоса услышать.

Фрегат Шишкова в том бою мог быть использован с двумя целями. Три гребных фрегата и два катера Круз оставил при себе для передачи сигналов и для посылок. Пять гребных фрегатов и четыре парусных были выделены в состав особого отряда под командованием Франца Денисона. Отряду было предписано держаться на наветренной стороне, чтоб обладать свободой манёвра и вступать в бой в случае неожиданных действий шведов. Где именно во время боя находились те или иные фрегаты, в отчётах не сказано; однако мы вполне можем восстановить картину в целом.

В эпицентре сражения находились все гребные фрегаты, и подбить с равным успехом могли и те, что находились при корабле командующего, и те, что шли на посылках, и те, что передавали сигналы, и тем более те, что составляли отряд Денисона.

В три часа ночи русский флот получил сигнал флагмана сблизиться с противником на расстояние ружейного выстрела и атаковать.

В четыре утра началось.

Более всего били по флагманскому кораблю Круза.

В пять утра командовавшему северным флангом вице-адмиралу Сухотину ядром оторвало ногу, он передал командование другому офицеру и приказал не ослаблять атаку.

На поддержку этого фланга был направлен особый отряд Денисона, в том числе гребные фрегаты. Некоторое время фрегаты били в интервалы между нашими кораблями. Но потом огонь прекратили: часть ядер попадали в паруса собственных кораблей. Отряд Денисона двинулся дальше на фланг.

К семи утра сражение выдохлось, шведы начали отходить, русские – преследовать.

Около 11 часов показался идущий шведам на помощь отряд галерного флота из 20 шхерных судов. Но эти суда в коротком и убедительном бою были отогнаны гребными фрегатами Денисона.

Сражения тогда зависели от погоды, поэтому, когда в полдень с запада подул сильный ветер и шведы оказались с наветренной стороны, это дало им возможность повернуть на юг, лечь параллельно русскому флоту и начать новую атаку: огонь снова был направлен на флагманский корабль.

Таким образом, если Шишков со своим фрегатом находился при Крузе (что наиболее вероятно, как покажут следующие события) – то он второй раз за день оказывался посреди жаркого боя. Если же он был придан отряду Денисона, то ему опять же дважды пришлось участвовать в прямых столкновениях со шведами.

К трём дня бой затих снова.

В шесть вечера, после перестроения, началась третья за день схватка. Однако усталость и потери сказывались, поэтому перестреливались с большого расстояния и без особого вреда друг для друга.

Ночью латали прорехи, готовились к новому бою, вице-адмирала Сухотина и часть раненых переправили в Кронштадт, но адмиральский флаг на его корабле так и не сняли, чтоб не радовать шведов.

Утром 24 мая шведам стало известно, что в поддержку Круза уже движется со своей флотилией адмирал Чичагов, и им нужно успеть уничтожить эскадру Круза до соединения русских сил.

В час дня шведы пошли на российскую эскадру; Круз отводил свои корабли на восток, завлекая шведов в глубину мелководной Кронштадтской бухты.

В пять вечера началась перестрелка. Шведы бились отлично: сначала они раскололи линию российской эскадры, затем смогли поставить корабли арьергарда под перекрёстный огонь, едва не отрезав их от остальных кораблей. Здесь в дело снова вступил отряд Денисона и положение спас.

В восемь вечера пропал ветер, и бой затих. Удача наша была уже в том, что удалось избежать поражения.

В половине девятого, когда эскадра Чичагова была уже неподалёку, и шведам, чтоб не попасть в окружение, пришлось отступать, уже русские пошли за ними в погоню. Но к тому моменту, когда эскадры Чичагова и Круза увидели друг друга, шведы смогли оторваться и уйти (поспособствовал тому сильный туман).

Русские потери составили 94 убитых и 246 раненых. Причём из числа убитых 34 человека погибли от взрыва собственных пушек. Историки уверяют, что это по тем временам

немного, ведь за два дня эскадра Круза сделала 36 тысяч выстрелов. Шведы потеряли 84 человека убитыми и 283 ранеными.

И в этот раз не одержав прямой победы, русские оказались в выигрыше: шведы не прорвались к Петербургу, и были вынуждены в очередной раз отступить – на этот раз вглубь Выборгского залива.

В Санкт-Петербурге, как ни удивительно, по-прежнему почти не было войск, и в силу совсем близкого нахождения шведов двор вновь готовился в случае опасности бежать. Екатерина Великая признала тогда, что «столица расположена на слишком опасном месте – на самой морской границе».

После соединения с Чичаговым все 8 гребных фрегатов были отправлены обратно в Кронштадт, но Шишков, отлично понимая, что российской эскадре вот-вот предстоят серьёзные сражения, так завершать летнюю кампанию не желал.

Он обратился к Чичагову с просьбой оставить его в составе эскадры.

Тот резонно объяснил, что отменить высочайший приказ об отправке гребных фрегатов в Кронштадт он не может, а поставить управлять фрегатом Шишкова кого-либо из командиров кораблей тоже было бы неправильно.

«Я поехал от него весьма печален», – пишет Шишков: как же, отставляют от войны – что может быть огорчительней для русского офицера и, к тому же, поэта.

«...Нечаянно привозят ко мне от адмирала записку, – продолжает Шишков, – по которой он приглашает меня к себе. Я приезжаю на корабль к нему. Он говорит мне: сейчас прислан сюда новопринятый на службу нашу капитан 2-го ранга Марчал, которому высочайше повелено дать под начальство какое-нибудь судно. Если ты желаешь остаться при флоте, то отдай ему фрегат свой, а сам перейди на мой корабль, где ты в звании особенной при мне должности будешь до тех пор, пока не откроется порожнее место начальника на каком-либо корабле или фрегате. Я с радостью принял сие предложение и тотчас же переселился на корабль к адмиралу».

То, что Шишков станет флаг-офицером при Чичагове (по сути – адъютантом, ведающим сигнальным делом), косвенно свидетельствует о том, что в предыдущем сражении Шишков выполнял непосредственные поручения адмирала Круза по передаче сигналов и был оценён крайне высоко – такое назначение Чичагова накануне генерального сражения должно было иметь самые веские обстоятельства.

К 8 июня русским удалось заблокировать оба морских прохода, ведущих в Выборгский залив, где скопились великие шведские силы: около 400 судов с тремя тысячами орудий и тридцатью тысячами матросов и солдат на борту.

Более того, на одном из кораблей находился сам король Густав III.

Чичагов в своих донесениях успокаивал императрицу, сообщая, что шведский флот заперт, и выйдет только с большими потерями – так что можно, в прямом и переносном смысле, распрягать лошадей.

Однако шведы, при всех минусах своего положения, пребывали в полной боевой готовности, и, пока они не были уничтожены, торопиться с успокоениями не стоило.

Время от времени шведы совершали пробные высадки десанта – небольшие их конные части доходили на расстояние около полутора миль до Петербурга.

Шишков рассказывал, что шведские перебежчики – имелись и такие, и в большом количестве, – докладывали: их матросов и солдат перевели сначала на половину, а потом на треть рациона, и запасы пресной воды подходили к концу. Поначалу, делая серьёзные и грубые вылазки на берег большим числом солдат, шведам удавалось добывать воду, но со временем российские гарнизоны и казаки перекрыли все основные доступы к местам, где можно было разжиться питьём.

За несколько дней до решающего сражения Шишков передал адмиралу Чичагову записку со своими подробными рассуждениями о предстоящем деле. Адмирал три дня молчал: ему могло показаться вольностью желание капитана 2-го ранга давать советы. Но на третий день Шишков всё-таки спросил: ознакомился ли адмирал с запиской?

«Да, и прочитал её несколько раз», – был ответ. Шишкова оценили. Советы были на редкость дельными.

Для шведов, попавших в «мешок» почти месяц назад, промедление смысла не имело, и 3 июля в 2 часа ночи суда их начали обстрел наших береговых батарей и тут же атаковали российский флот. Они решились идти на прорыв основными силами, оставив и предав огню лишь свои старые суда.

Густав III пересел в шедшую на буксире шлюпку, на которой, как утверждают, был поднят его флаг (впрочем, и на корабле, с которого он сошёл, – тоже). Когда начался прорыв, шлюпка легко прошла под русскими ядрами – погиб только один гребец. Поднятый Густавом на шлюпке флаг, конечно же, многое говорит о королевских понятиях чести, но справедливости ради стоит отметить, что ночью вряд ли кто-то мог разглядеть, что там развевается над шлюпкой.

Под жесточайшим обстрелом шведы, тем не менее, очень быстро прорвали блокаду.

Шишков, наблюдавший всё происходящее и непосредственно в бою участвовавший, в своих записках отдаёт врагу должное: «Прохождение передового шведского корабля и последовавшего за ним, было сколько отважное, не меньше того искусное: он шёл под одними марселями, имея все прочие паруса для сбережения их закреплёнными, но приготовленными так, чтоб в одно мгновение можно было распустить их. Все служители его были скрыты внизу, в подводной части корабля, куда ядра пролетать не могут. Наверху оставались одни офицеры с малым числом матросов. Лёжа носом к отряду, он не мог палить по нему, кроме как из двух носовых пушек. Таким образом, осыпаемый ядрами по крайней мере из полутора ста орудий, не претерпел ни в людях великого урона, ни в снастях и мачтах значительных повреждений. Может быть, сие покажется слабым с кораблей наших действием, но надлежит себе представлять, что переход расстояния на два пушечных выстрела (то есть от точки, где начинают бить ядра, до точки по другую сторону отряда, где они перестают доставать) весьма недолговременен, и тем ещё больше сокращался, что каждый неприятельский корабль тотчас, по миновании нашего отряда, распускал вдруг все паруса, так что переход сей продолжался не более четверти часа».

Шишков признаёт ошибку: надо было сразу бить по парусам и снастям – это не дало бы шведам уйти.

«Когда неприятельская кордебаталия² проходила помянутый наш отряд, – пишет Шишков дальше, – два корабля ея, узостью места и сильным поражением стесняемые, стали на мель... Адмирал, по соизмерению близости расстояний, приказал первым из них овладеть кораблю “Константину”, вторым – кораблю “Бориславу”. В десятом часу неприятель пустил на отряд контр-адмирала Повалишина зажжённый брандер³, который, не дошед до него, стал на мель. Шедшие за ним неприятельский корабль и фрегат, не могли по тесноте прохода обойти оно, от него загорелись и вскоре воспалившимся порохом взорваны на воздух».

«Ужас пожара на море, – делится Шишков, – превосходит всякое бедствие, и разве только ту имеет выгоду, что недолго мучит, и скорее, чем гибель сокрушаемого бурей корабля, приносит смерть. Многие смолёные на корабле снасти и другие вещи, мгновенно возгораясь, распространяют повсюду пламень, который, проникнув до порохового погреба, страшным образом разрушает корабль, бросая верхние части его на воздух, а нижнюю опус-

² Флот.

³ Судно, начинённое порохом.

кая на дно моря. Мы смотрели на сие пагубное зрелище в трубы и с трепещущими от соболезнавания сердцами видели, как на каждом из них отчаянные люди, высыпав и, так сказать, прильнув к бокам корабля и висящим с кормы лестницам, ожидали между огнём и водою последнего своего часа».

...Шведы потеряли восемь кораблей – причём семь из них сели на мель из-за плохой видимости. Один из кораблей продолжал обстреливать русских, пребывая в совершенно недвижимом, то есть, по сути, обречённом положении – стоит отдать ему должное, – но только один.

Шишков описывает такую ситуацию: когда русский фрегат обходил ставшие на мель или подбитые шведские суда, они тут же опускали шведские флаги и поднимали белые, показывая, что сдаются. Но едва ближайший наш фрегат удалялся, они возвращали на мачты шведские флаги и пытались грести вослед основной части своего сбежавшего уже флота. Огорчившись такому вероломству, русские начали жестоко обстреливать хитривших шведов. На этот раз, доказывая, что обмана больше не будет, шведы не только спустили флаги, но догадались на глазах у русских сломать свои реи и начали рвать паруса, давая понять, что попытки побега были напрасными, и больше такого не повторится.

Доверившись, русские ушли, а шведы остались в одиночестве – и всё-таки сбежали на своих судах.

Самое огорчительное, пишет Шишков, что шедший в шлюпке Густав III именно к одному из этих кораблей и пристал. И если б в пылу боя кто-то решил остановиться и арестовать шведских офицеров – в наши руки попался бы и король. Но этого не сделали!

«В осьмом часу, – продолжает Шишков, – прошли мы остров Го гланд, гонясь при свежем ветре за неприятелем, бегущим под всеми парусами. В девять часов корабль “Мстислав” стал приближаться к заднему шведскому под контр-адмиральским флагом кораблю, с которым вскоре вступил в сражение и принудил его сдаться. Битва сия, происходившая на виду обоих флотов, представляла прекрасное зрелище, если так можно назвать битву. Корабль наш, имея в ходу некоторое превосходство перед шведским, повреждённым в верхних парусах, стал помалу приближаться к оному, и, когда подошёл к нему на пушечный выстрел, тогда швед начал палить по нему из двух кормовых пушек. Он, не ответствуя на то, продолжал свой путь, и чем более с ним выравнивался, тем больший претерпевал огонь от боковых ближайших к корме пушек его, доколе совершенно с ним не поравнялся. Тогда открыл свою батарею – и сражение между ими сделалось самое жаркое. Вскоре у обоих паруса изорванные затрепетали и скорость хода уменьшилась. Ядро нашего корабля сбило висевший на бизань-рее шведский флаг, который, вея и кувыркаясь, летел оттуда в море...»

Когда капитана корабля уже взяли в плен, он спросил: а видели, что рядом с нами шло небольшое парусное судно? «Конечно, да», – ответили ему. Зря вы гнались за нами, сказал капитан, и дал понять, что на том парусном судне был король.

Так Густав III спасся второй раз за день.

Шведы потеряли, по разным данным, от четырёх до восьми тысяч убитых, раненых и плененных матросов и солдат (в записках Шишкова – пять тысяч плененных и три тысячи убитых). Потери российского флота составили 117 убитых и 164 раненых. Кораблей нами потеряно не было.

С донесением о победе были посланы Шишков и сын адмирала Чичагова – Павел, тоже будущий адмирал. Для таких поручений отбирались самые яркие и видные офицеры – значит, Шишков достаточно быстро заработал высокое уважение в глазах адмирала.

Императрица одарила каждого золотой саблей с надписью «За храбрость» и золотой с бриллиантами табакеркой.

Позже адмирала Чичагова будут критиковать за излишнюю медлительность, проявленную в сражении, и обвинять в том, что его подчинённые упустили добрую половину пленённых.

ных шведских судов и полностью уничтожить шведский флот в очередной раз не удалось. Но главное – о продолжении войны после таких шведских потерь речи идти уже не могло.

Однако ещё одно сражение всё-таки тогда случилось – Второе Роченсальмское, где из-за бездарного руководства русские ухитрились потерпеть поражение. Но там уже не было ни адмирала Чичагова, ни Шишкова. Зато в нём принимал участие капитан Марчал, которому Шишков совсем недавно передал свой фрегат. Вот судьба человеческая: получая в управление фрегат, Марчал уходил прочь от грядущего сражения, а Шишков стремился в дело. Но жизнь распорядилась так, что Шишков выжил и был награждён лично императрицей, а Марчал во Втором Роченсальмском сражении погиб.

3 августа 1790 года был заключён мирный договор, подтвердивший довоенные границы между Россией и Швецией. Густав не получил ничего – три года войны прошли для него впустую: Россия осталась при своём. Однако стало понятно, что при таком незавидном положении Санкт-Петербурга и настрое шведов аннексия Финляндии должна рано или поздно случиться.

В 1791 году Шишков получил в командование 64-пушечный линейный корабль «Ретвизан», захваченный у шведов во время Выборгского сражения.

Война завершилась, походы теперь были только учебными, и появилось время для завершения работы над «Трёхязычным морским словарём» и переводом книги «Морское искусство, или Главные начала и правила, научающие искусству строения, вооружения, правления и вождения кораблей».

«Морское искусство» было издано в 1793 году.

Сначала Шишков передал вышедшую книгу императрице – через князя Платона Александровича Зубова.

Затем она была преподнесена великому князю Павлу Петровичу, как шефу флота. Шишкова предупредили: когда будешь подавать книгу, не забудь встать на колени и поцеловать руку.

«Я вошёл, – пишет Шишков, – и, когда стал припадать на колени, то великий князь приподнял меня, дал поцеловать руку, и с каким-то особым выражением сказал: “Очень благодарен вам, что вы удостоили меня поднесением своих трудов”. Потом взял книгу и, рассматривая чертежи ея, расспрашивал с превеликой подробностью о каждом из них».

– А там прочитали? – спросил Павел Петрович, имея в виду свою мать-императрицу, которую не любил.

Шишков сразу догадался, что имеется в виду:

– Два месяца назад книга была передана, но мне ничего не известно о том, получена и прочитана ли.

– Хорошо же у нас вознаграждают труды, – сказал великий князь.

Павел, конечно же, часто думал о людях, которых соберёт вокруг себя, когда станет императором, – и вот один из их числа находился пред ним.

Но то, что Зубов книгу Шишкова видел и прочёл её, всё-таки однажды выяснится. В 1796 году Шишкова перевели на самый юг империи правителем канцелярии Черноморского флота и портов – а возглавил флот князь Платон Зубов, на такие должности, конечно же, отбиравший офицеров лично.

Понимающий уже правила придворной игры Шишков обратился за разрешением к Павлу Петровичу: ехать ли к Чёрному морю, великий князь? Платон Зубов был фаворитом Екатерины, и Шишков давал понять: люди эти не навсегда, великий князь, а мой опыт может пригодиться и в ваше царствование, которому свой неизбежный черёд.

Павел Петрович был тронут поступком Шишкова – и ничего впоследствии не забыл. По смерти императрицы Екатерины в ноябре 1796 года и вступлении на престол Павла Шиш-

ков был тут же произведён в капитаны 1-го ранга (хотя это и так должно было произойти – по сроку выслуги).

Все приближённые ко двору пребывали тогда в некоторой растерянности.

В записках Шишкова, остроумных и местами экспрессивных, это состояние передано замечательно: «Между тем, надлежало благодарить государя. Сего нельзя было иначе сделать, как на вахт-параде (слово, которого мы прежде не знали; и ученья перед дворцом нескольких солдат, где сам царь присутствует и распоряжает, – никогда не видывали). Как быть? мороз пресильный; я на лекарствах; с нуждою выезжаю; всего больше велят беречься простуды – а должно по крайней мере полчаса стоять и дрогнуть в одном мундире. Поехал! Однако ж спрятался в шубе за людьми, и дожидаясь, когда наступит представление. Куча незнакомых мне людей окружает меня. Один из них, в генеральском мундире, поглядывает на меня; и всякий раз, когда я на него взгляну, он, как будто оторопев, то для снятия шляпы приподнимает руку, то, как будто одумавшись, опустит её и от меня отворотится. Казалось мне, что я где-нибудь видел его, но не помнил. Напоследок, доспросясь, узнал, что это немец Канабих. Он, в бытность мою в морском кадетском корпусе капитаном, был фехтовальным учителем, и, каким-то образом записавшись тогда к великому князю в полк, стал теперь генералом. Ему немудрено было меня помнить; и он, по-видимому, не забывая ни старого, ни нового состояния своего, предавался то робости, то спеси. Как ни был я грустен и озабочен, но сии судорожные движения руки его приводили меня в смех. Наконец, вахт-парад приходил к той поре, когда имеющих за что-либо благодарить представляют государю. Я смотрю во все глаза: не смею моргнуть, чтоб не пропустить этой минуты. Тотчас, по наступлению ея, сбрасываю с себя шубу, продираюсь сквозь людей и кидаюсь на колени. Павел поднимает меня... и говорит: “Поди, поди домой. Я знаю, что ты болен. Береги своё здоровье: ты мне надобен”».

Измученный болезнями и тоскующий по литературной работе, Шишков дожидаться решений нового императора не стал и попросился на год в отпуск.

Ему дали возможность отдохнуть. В 1796 году Александр Семёнович стал членом литературной Академии Российской, и можно было бы всерьёз приняться за труды словесные, но уже весной 1797 года Павел I передумал и дал Шишкову новое назначение: его поставили эскадр-майором Его Величества.

Имевший ещё до вступления на престол звание генерал-адмирала, император Павел I решил провести масштабные учения в Балтийском море.

Что такое эскадр-майор, Шишков даже не знал: выяснилось, что так теперь называли флаг-офицера. То есть в очередной раз Шишкову было предложено исполнять адъютантские обязанности, но теперь уже при самом императоре.

В ходе учений государь смог увидеть и оценить познания и опыт Шишкова, полученные за четверть века службы во флоте. Хотя бывали на учениях дни нервные – самодурство Павла то и дело давало о себе знать. В записках Шишкова есть такие описания:

«Можно ли корабли построить так, а не вот так?» – интересуется Павел; следует долгое объяснение Шишкова, отчего не можно; император не очень понимает и посему раздражён. «Если мне угодно, чтоб они были построены, как я желаю, тому так и быть», – восклицает он. На счастье Шишкова, появляется другой опытный офицер, и Александр Семёнович говорит: «А вот спросите хоть и у него тоже». Павел спрашивает, звучит то же самое объяснение. Император в бешенстве уходит вниз, бросая: «Посмотрю, как эти умники будут управлять флотом без меня!»... Но через час возвращается в отличном настроении и ещё большем расположении к эскадр-майору.

В июле 1797 года, по безупречному завершении учений, Шишков был награждён орденом св. Анны второй степени, произведён в капитан-командоры и пожалован званием гене-

рал-адъютанта. (Для сравнения: Суворов генерал-адъютанта при Екатерине так и не получил.)

Казалось бы: ничего, кроме благодарности императору, Шишков не может испытывать – но его, как и многих тогда, раздражали и зверская муштра, и заставляющее вспомнить времена Петра III повсеместное насаждение прусских порядков, и необъяснимый рост в чинах молодых людей, неизвестно чем отличившихся... И эти немцы повсюду – учитель фехтования Канабих, негодовал Шишков, преподаёт военное искусство! Шишкову – офицеру, капитану боевых кораблей, создателю морского словаря и учебника по военной тактике – всё это было не по нутру.

Так или иначе, он по-прежнему исполнял разнообразные поручения императора, зачастую и деликатного политического свойства: к примеру, выезжал за границу, чтоб в числе прочего разузнать – не замышляет ли Платон Зубов, отпущенный жить в Европу, чего дурного против государя. Выяснилось, что нет.

К Шишкову явно благоволили: в феврале 1799 года он назначен на должность историографа флота, следом награждён св. Анной первой степени и произведён в вице-адмиралы.

А он, тем не менее, всё сильнее желает удалиться от двора: здесь в немилость попасть – дело разовое, куда проще было на флоте служить и учить кадетов.

Одно из немногих сочинений Шишкова той поры – стихи на смерть Александра Васильевича Суворова, сразу приобретшие известность и распространившиеся в списках:

Остановись, прохожий!
Здесь человек лежит, на смертных не похожий:
На крылосе в глуши с дьячком он басом пел
И славою, как Пётр или Александр, гремел.
<...>
Не в латах, на конях, как греческий герой,
Не со щитом златым, украшенным всех паче,
С нагайкою в руках и на козацкой кляче
В едино лето взял полдюжины он Трой.
<...>
Одною пищею с солдатами питался.
Цари к нему в родство, не он к ним причитался.
Был двух империй вождь; Европу удивлял;
Сажал царей на трон, и на соломе спал.

В записках Шишков приводит один невесёлый анекдот, которому сам был свидетелем при гробе Суворова: «Князь Шаховской, лишившийся руки в одном из сражений, бывших под предводительством Суворова, смотря на него, сказал сквозь слёзы: “За тобою следуя, лишился я руки; встань! я с радостью дам себе отрубить другую”. Мы с ним прослезились, и, отдав последний поклон праху великого мужа, идём мимо часового, который при отдавании нам чести, казалось, насильно удерживался от плача. Взглянув на печальное лицо его, мы спросили: “Тебе так же, как и нам, жаль его?” Он вместо ответа залился слезами. “Верно, ты служил с ним?” – повторили мы свой вопрос. “Нет! – отвечал он, рыдая. – Не приведи Бог!”»

Суворов лишь при взгляде со стороны является символом пышных реляций о победах, а как выглядят кровавые битвы, рукопашные схватки, оторванные ядрами конечности и мгновенная смерть сотен людей – Шишков знал лучше многих; посему и ответ часового оценить мог.

Но разительное отличие между этим прощанием и похоронами императора Павла, убитого во время дворцового переворота в 1801 году, Шишков тоже заметил: «Погребение его

отнюдь не походило на погребение князя Суворова: там видел я множество печальных и плачущих лиц, а здесь, идучи за гробом от Михайловского дворца через Тучков мост до крепости, из многих тысяч зрителей во всю дорогу не видел я никого, кто проливал бы слёзы. Казалось, все смотрели как бы на некое скорее увеселительное, нежели печальное зрелище».

При императоре Александре I Шишков на некоторое время удаляется от дел и двора, но уже в 1805 году становится директором вновь образованного Адмиралтейского департамента морского министерства и членом Морского учёного комитета.

К тому времени он возобновляет то, что можно назвать отложенной жизнью: занятия литературой, прерванные годами флотской службы и придворной деятельности.

Но Шишков не просто начинает писать – он одним из первых осознаёт, какое влияние может оказать словесность, русский язык, само отношение к нему на жизнь и будущность российской империи.

Ещё в 1803 году он издаёт работу «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», где пишет: «Ненавидеть своё и любить чужое почитается ныне достоинством... Пишем друг другу по-французски. Благородные девицы наши стыдятся спеть русскую песню... Дети знатнейших бояр и дворян наших... научаются презирать свои обычаи... говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своём никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оно, но ещё многие из них сим постыднейшим из всех невежеств, как бы некоторым украшающим их достоинством хвастаются и величаются».

Шишкова можно было б упрекнуть в излишнем рдении о национальном, когда бы он сам, не зная языков, других за их знание завистливо презирал, – но он был к тому времени именитым переводчиком и академиком.

Вызов, брошенный Шишковым, стоит осознать: этот уроженец неведомой деревни возле городка Кашина посмел осудить едва ли не всю русскую аристократию, все виднейшие фамилии, всё просвещённое общество, столь гордившееся своим наконец обрётённым европейским лоском и отличным французским выговором.

Это уже были не шутки Фонвизина, потешавшегося над тем же самым, – в случае Шишкова борьба с галломанией стала последовательной работой влиятельного государственного мужа.

Когда мы вспоминаем те едкие эпиграммы, что будут на Шишкова направлены, – а из них можно составлять отдельные сборники, – надо отдавать себе отчёт, что порождены они были не в последнюю очередь чувством спесивого недовольства: кто смеет нам указывать? что это за деревенщина, дослужившаяся до вице-адмирала?

«Не знаю, на каком языке молится он Богу, может быть, ни на каком, – напишет однажды Шишков о своём младом современнике. – Часто судит о нравственных вещах, и больше всего превозносит вольность, которая, по его понятиям, в том состоит, чтоб не считать ничего священным, не повиноваться ничему, кроме страстей своих. На двадцатом или двадцать пятом году он по смерти вашей делается наследником вашего имения. О, если б вы лет чрез десяток могли встать из гроба и посмотреть на него! Вы бы увидели, что добываемое из земли с пролиянием пота десятью тысячами рук богатство расточает двум-трём или пяти обманывающим его иностранцам... А ваш и супруги вашей портрет, не прогневайтесь, вынесен на чердак и приносится только, когда надобно посмеяться, как вы одеты были странно. Вы бы узнали, что не только на могиле вашей он никогда не был, но и в церкви, где вы похоронены, или, лучше сказать, ни в какой. Вы бы увидели, что он над бабушкой своею, чуть дышущей, хохочет и говорит ей: *Лукерья Фёдоровна, скажи что-нибудь про старину...*»

Может быть, в этом пассаже чувствуется некоторая огульная раздражительность – в конце концов, этим молодым людям ещё предстояло выиграть войну 1812 года.

С другой стороны, есть и такой факт: когда русские возьмут Париж, общее количество войск будет составлять 120 тысяч человек. Из них 45 тысяч... так и не вернутся домой! Останутся там, в Париже!

Разве нет в этих словах Шишкова прозрения о некоторых распространяемых в обществе вирусах, из которых вырастут со временем Достоевские бесы?

У всякого в России – свой колокол; Шишков звонил в свой.

Для просвещённой, прогрессивной молодёжи тех дней пятидесятилетний Шишков (по тем временам – старик) скоро превратился в фигуру нарицательную; не любить его стало известной модой.

Ну а кому приятно, если ты, наблюдая себя в зеркале, уверен, что почти уже стал европейцем, а тут тебе сообщают, что ты невежда и лакей. И в то время, когда есть увлекательные немецкие рыцарские романы или великолепные французы, – тебе подсовывают скучнейшие священные книги, и ещё какое-то «Слово о полку Игореве». (Шишков был автором первого переложения на современный язык опубликованного в 1800 году библиофилом Мусиным-Пушкиным шедевра древнерусской литературы.)

В 1805 году Академия Российская выпускает труд Шишкова «Примечания на древнее сочинение, называемое Ироическая песнь о походе на половцев, или Слово о полку Игореве», где он выступает уже как исследователь и комментатор.

Определённая заданность в его подходах, конечно же, видна: Ю.М.Аотман заметил, как старательно Шишков «христианизировал» «Слово», объясняя, что если автор собирается «петь» «не по замыслению Бояню», значит он «...разумеет под сими словами, что ему, яко живущему во времена христианства, не все те вымыслы употреблять пристойно, какие употреблял Боян, живучи во время идолопоклонства».

Но и в этой заданности был свой смысл. Шишков, пожалуй, первым связал с принятием христианства установление не только русской государственности, но и словесности тоже.

«Поистине, язык наш есть некая чудная загадка, поныне ещё тёмная и не разрешённая, – писал он. – В каком состоянии был он до введения в России православной христианской веры, мы не имеем ни малейшего о том понятия... Но вдруг видим возникновение его с верою. Видим в нём Псалтырь, Евангелие, Иова, Премудрость Соломонову, деяния Апостолов, послания, ирмосы, каноны, молитвы, и многие другие творения духовные. Видим его в оных не младенцем, едвадвигающим мышцы свои; но мужем, поражающим силою слова...» («О превосходных свойствах нашего языка»).

И при этом, поражался Шишков, новомодная наша словесность, потерявшая рассудок на подражании европейцам, занимается, цитируем, «юридическим переводом и выдумкой слов и речей, нимало нам не свойственных, в то время как многие коренные и весьма знаменательные российские слова иные совсем пришли в забвение; другие, несмотря на богатство смысла своего, сделались для не привыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование и употребляются не в тех смыслах, в каких сначала употреблялись».

«Итак, – подводил Шишков невесёлые итоги, – с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой – истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утверждённые понятия: таким-то образом... процветает словесность наша и образуется приятность слога, называемая французами *elegance*!»

Давно зная, что один в море не воин, Шишков собирает единомышленников: в 1807 году начинаются частные встречи, которые спустя три года получают наименование «Беседы любителей русского слова» и становятся публичными. В числе сторонников Шишкова оказываются такие исполины, как Гаврила Романович Державин и Иван Андреевич Крылов. Впоследствии этот круг назовут архаистами; к числу «младших архаистов» относились, к примеру, поэты Александр Грибоедов и Павел Катенин.

Так началось противостояние Шишкова (и шишковцев) с Карамзиным (и карамзинистами). Державину, Крылову и Грибоедову эту историю простят, а «мракобеса» Шишкова в литературоведении сделают – не скажем «мальчиком», а скорей – дедушкой для битья.

Максимально упрощая наш разговор, скажем так: с одной стороны, для развития молодой русской литературы европейское влияние было во многом живительным; с другой – Шишков прав: заимствуя чужие слова, мы слишком часто теряли свои, приживляя чужеродное, разрывали нерасторжимые смысловые связи, кромсали саму ткань языка, не осознавая, что там ничего случайного нет, что язык – наша защита и несёт в себе, как сегодня это бы назвали, «систему национальных кодов».

Впрочем, каким бы ни казался Шишков архаистом, нынешнее звучание сентиментальных повестей, даже и карамзинских, вызывает в лучшем случае улыбку, а тексты и церковнославянской литературы, и древнерусской – стоят нерушимо и действуют завораживающе. Неправота Шишкова оказалась сиюминутной, а правота – постоянной.

Шишков между тем шёл дальше и пытался доказывать, что и священные тексты на церковнославянском звучат убедительней, чем на французском (в лекции 1810 года «Рассуждение о красноречии Священного писания и о том, в чём состоит богатство, обилие, красота и сила российского языка...»). Не оценивая, насколько он был прав, – скажем только, что это его донкихотство само по себе вызывает уважение.

К тому же не будем упрощать: Шишков, к примеру, допускал и даже рекомендовал введение в литературный оборот «низкой лексики» – так что ещё вопрос, кто из них был более прогрессивен, он или Карамзин.

Юрий Тынянов в замечательной своей работе «Архаисты и Пушкин» утверждает, что Шишков боролся против «единообразия и сглаженности» языка. Выписывая из Карамзина фразу о том, что «светские дамы не имеют терпения» читать русских романов, потому что так не говорят «люди со вкусом», Шишков остроумно отвечал: «Не спрашивайте ни у светских дам, ни у монахинь».

Тынянов напоминает анекдот про Шишкова: как он у одной своей хорошей знакомой листал альбом, и, обнаружив там русские имена, написанные по-французски, все их вычеркнул и приписал:

Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала,
Ты честь-хвала отцу-матери,
Сухота сердцу молодецкому.

Характер Шишкова являл собой не, как может показаться, склонность к окаменелым формам, но напротив – распахнутость и душевное здоровье.

Одним из первых в России он всерьёз занялся сбором народных песен, лично зная их великое количество, и занятия неизбежно сказывались на его убеждениях.

Идёт девица из терема,
Что бело лицо заплакано,
Ясны очи помутилися,
Белы руки опустилися,

– приводя в пример эту песню, Шишков пояснял: «Мы не таким образом описываем ныне печаль красавиц, но сия безмолвная кручина: ясны очи помутилися, белы руки опустилися, – едва ли не лучше сих, влагаемых в уста любовниц, восклицаний: о, рок! о, лютый рок! я рвусь, терзаюсь! И тому подобных. Что же это такое?»

Когда началось это вслушивание в речь у Шишкова? Наверное, в тот день, когда он, будучи совсем ещё молодым мичманом, задумал составлять трехязычный словарь морских терминов – и, переписывая сотни слов, начал распознавать их родство. Обнаружив в том неслыханную музыку, захотел и с другими ей поделиться, пусть даже и ошибаясь в частности.

Однако и претензии к Шишкову со стороны критикуемых им бывали верны: осознавая нехватку доводов собственно филологических, Александр Семёнович зачастую переходил на слишком широкие обобщения, обвиняя оппонентов в маловерии, склонности к якобинству и отсутствию патриотизма. Зачастую так оно и было, но Карамзин точно не был меньшим, чем Шишков, патриотом России. Да и самого Карамзина либеральная молодёжь

за монархические взгляды (при республиканских убеждениях, что сам он парадоксальным не находил) позднее запишет в сторонники рабства и даже в невежды; у них с этим скоро.

Историческая закономерность тем не менее заключается в том, что в трудные для Отчизны времена российская власть призывает на помощь в первую очередь тех, кого чаще всего обвиняют в ретроградстве; и они в полной мере исполняют вверенное им. Александра Семёновича Шишкова призвал император Александр I.

В 1811 году Шишков пишет «Рассуждение о любви к Отечеству»: «Человек, считающий себя гражданином света, то есть не принадлежащим ни к какому народу, делает то же, как бы он не признавал у себя ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Он, исторгаясь из рода людей, причисляет сам себя к роду животных. Какой изверг не любит матери своей? Но Отечество не меньше ли нам, чем мать? Отвращение от сей противоестественной мысли так велико, что, какую бы мы ни положили в человеке худую нравственность и бесстыдство; хотя бы и представили себе, что может найтись такой, который в развращённой душе своей действительно питает ненависть к Отечеству своему; однако и тот постыдился бы всенародно и громогласно в том признаваться. Да и как же не постыдиться? Все веки, все народы, земля и небеса возопияли бы против него: один ад стал бы ему рукоплескать».

Статьи и рассуждения Шишкова достигали порой державинской силы – чего стоит «один ад», который стал бы «рукоплескать».

При всём своём, на тот момент, либерализме, Александр I догадывался, с чем скоро придётся столкнуться России, и какие слова станут ей необходимы. Так Шишков получил пост государственного секретаря. Сын едва сводившего концы с концами инженер-поручика, имевшего 15 душ, попал в число первых лиц государства.

Характерно, что ещё в 1810 году император наотрез отказывался включать Шишкова в Государственный совет, говоря: «Я скорее соглашусь не царствовать».

(Параллели с тем, как вдруг «правеет» российская власть всякий раз накануне Отечественных войн – очевидны; стоит напомнить, что и Первую мировую называли изначально – Второй Отечественной, и тогда тоже был явлен крен «вправо»; а если быть совсем дотошным, то можно обнаружить повторение этого крена с разницей ровно в сто лет, уже в наши дни.)

В апреле 1812 года Шишков, вслед за государем, прибывает в Вильно. Увиденное там его – военного человека, вице-адмирала – откровенно удручает. Зачем-то, удивляется Шишков, в Вильно завезли огромное количество запасов – при том, что город уже собирались оставлять.

Шишков посетил великого князя Константина Павловича, поселившегося в однокомнатном домике. Ожидая на улице, когда его призовут, Шишков видел, как на аудиенцию раз за разом заводят по несколько солдат. Он был уверен, что Константин Павлович произносит напутствия перед скорым сражением. Но когда наконец Шишкова позвали, он стал свиде-

телем того, как великий князь показывает одеревеневшим от напряжения солдатам... строевые приёмы и развороты.

– Ты, верно, смотришь на это как на дурачество? – спросил великий князь.

Шишков даже не нашёлся с ответом и только поклонился.

Присланному от Наполеона генералу, продолжает Шишков перечисление замеченных им нелепостей, зачем-то показывали учения российских войск. «То ли было время, чтобы удивлять или устрашать?» – задаётся Шишков вопросом.

При этом сама жизнь придворной аристократии проходила в такой беспечности, словно неприятель был за тысячи вёрст. «Занимались весёлостями, – пишет Шишков. – Строили галерею или залу, чтобы дать в ней великолепный бал».

Известие о начале войны застало императора на балу, проходившем на загородной даче! Шишков туда даже не пошёл; он и раньше подобных мероприятий избегал.

Ночью Шишкова разбудили и доставили к императору.

– Надобно составить приказ нашей армии, – сказал император. – Неприятель вступил в наши пределы.

Так Александр Семёнович Шишков начал работать над обращениями государя, которым в течение войны будет внимать вся Россия.

Первый манифест гласил: «Из давнего времени примечали Мы неприязненные против России постановления Французской Империи, но всегда крепко и миролюбиво отклоняли оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всём Нашем желании сохранять тишину, принуждены были Мы ополчиться и собрать войска Наши; но и тогда, ласкаясь ещё примирением, оставались в пределах Нашей Империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский Император нападением на войска Наши при Ковне открыл первый войну. Итак, видя его никакими средствами не преклонным к миру, не остаётся Нам ничего иного, как призвав на помощь Свидетеля и Защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силу Наши противу сил неприятельских. Не нужно Нам напоминать вождям, полководцам и воинам Нашим об их долге и храбрости. В нас издревле течёт громкая победами кровь Славян. Воины! Вы защищаете Веру, Отечество и свободу. Я с вами. На зачинающего Бог».

С началом войны ставка переезжала с места на место, воззвания свои Шишков писал в различных неподобающих местах.

В какой-то момент, заручившись поддержкой ещё двух приближённых к императору, Шишков обратился с просьбой к Александру оставить армию и вернуться через Москву в Санкт-Петербург. Опытный воин, Шишков понимал, что движение французской армии будет таким скорым, что, не ровен час, ещё и государя возьмут в плен: то-то позор будет. Но даже если исключить этот чудовищный случай, всё равно: отступающая до самой Москвы армия без государя – вовсе не то, что армия, разбитая вместе с государем.

Александр I разумному совету Шишкова внял, хотя никогда впоследствии не признавался в этом.

Вослед за государем через несколько дней отправился на восток и Шишков.

«...В Смоленске, – пишет он в своих записках, – предстало очам нашим великое множество народа и разных чинов отставных дворян, из которых многие приходили ко мне сказывать, что они всех крестьян своих вооружат и сами пойдут с ними навстречу неприятелю... Одно только меня смущало: почти все приходившие ко мне дворяне единогласно говорили, что, если дадут им предводителя, лишь только б это был русский; но в то же самое время назначен был предводительствовать ими не знающий ни слова по-русски иностранец Винценгероде».

Характерная для тех времён примета: вопиющее недоверие к собственному народу – и это после того, как совсем недавно коренной русак Суворов спасал Европу и бил всех прославленных полководцев поочерёдно.

Следующий манифест Шишков писал уже в Москве, 6 июля: «...Да распространится в сердцах знаменитого Дворянства Нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет Бог и православная наша церковь... Да обратится погибель, в которую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобождённая от рабства Европа да возвысит имя России».

В тот же день был выпущен знаменитый «Манифест о всеобщем ополчении»: «Неприятель вступил в пределы Наши и продолжает нести оружие своё внутрь России, надеясь силой и соблазнами потрясть спокойствие Великой сей Державы... С лукавством в сердце и лестью в устах несёт он вечные для неё цепи и оковы... Да найдёт он на каждом шагу своим верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не вникая никаким его лукавствам и обманам. Да встретит он в каждом Дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина... Святейший Синод и всё духовенство! вы всегда тёплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ Руской! Храброе потомство храбрых Славян! ты неоднократно сокрушало зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров! Соединяйтесь все с крестом в душе и оружием в руках, и никакие силы человеческие вас не одолеют».

Граф Фёдор Ростопчин в своих «Записках о 1812 годе» вспоминал: «...Я был поражён тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. Сначала обнаружился гнев; но, когда Шишков дошёл до того места, что враг идёт с лестью на устах, но с цепями в руке, – тогда негодование прорвалось наружу и достигло своего апогея: присутствующие... рвали на себе волосы... видно было, как слёзы ярости текли по этим лицам...»

По дороге из Москвы в Санкт-Петербург Шишков наблюдал подивившую его картину в небесах: облако, похожее на рака, встретилось с облаком, похожим на дракона. В ту минуту, когда голова дракона подползла к клешням, туловище дракона начало расплываться и потеряло очертания, а рак остался.

Рак, решил для себя Шишков, символизирует Россию; «...и эта мысль утешала меня всю дорогу», признаётся он.

Самый трудный манифест Шишкову пришлось составлять на оставление Москвы: «Сколь ни болезненно всякому Русскому слышать, что первопрестольный град Москва вмещает в себя врагов отечества своего, но она вмещает их в себя пустая, обнажённая от всех сокровищ и жителей. Гордый завоеватель надеялся, вошед в неё, сделаться повелителем всего Российского царства и предписать ему такой мир, какой заблагорассудит, но он обманется в надежде своей... Итак, да не унывает никто! И в такое ли время унывать можно, когда все состояния государственные дышат мужеством и твёрдостью? когда неприятель с остатком от часу более исчезающих войск своих, удалённый от земли своей, находится посреди многочисленного народа, окружён армиями нашими...»

«Написав сию бумагу, – признаётся Шишков, – я прочитал её несколько раз, сам сомневаясь в предвещениях моих, столь мало тогдашнему положению нашему соответствующих. Однако ж ободрился, не переменил ни слова и отнёс её к государю: он выслушал и приказал прочитать в комитете министров».

Министры попросили Шишкова исключить блистательное выражение о Наполеоне: «Он затворился во гробе, из которого не выйдет жив», – но, пожалуй, были неправы.

...В декабре, вослед бегущей армии Наполеона, государь, а за ним и государственный секретарь выехали в Вильно, которое оставили полгода назад.

«Дорога устлана была разбросанными подле ней и на ней мёртвыми телами, – вспоминает Шишков, – так что наши сани стучали, проезжая по костям втоптаных в неё челове-

ческих трупов... Положение тел их было нечто удивляющее и непостижимое. Иные из них лежали полунагие, или в странных, случайно попавшихся им одеяниях, сгорбленные, искорверканные, так сказать, как бы живомёртвые. У иных, на лицах их, на коих не успело ещё водвориться спокойствие вечного сна, изображалось такое лютное, дикобразное отчаяние».

«По приезду нашему в Вильну... я увидел длинную, толстую, высокую, необычайного образа стену. Спрашиваю: что это такое? Мне отвечают, что это наваленные одно на другое, смёрзшиеся вместе мёртвые тела...»

В той стене было семнадцать тысяч трупов.

«Для прочищения воздуха везде по улицам раскладены были зажжённые кучки навоза, курящиеся дымом. Все мы опрыскивали своё платье и носили с собою чеснок и другое предохранительные от заражения вещи».

В декабре Шишкову был пожалован орден св. Александра Невского – «За примерную любовь к Отечеству».

Последний манифест того года войны гласил: «Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего войсками нашими, знаменитого полководца, принёсшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у всего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. И так познаем в великом деле сем промысел Божий! Повергнемся пред святым Его престолом и, видя ясно руку Его, поразившую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями, не похожими на отпавших от веры осквернителей храмов Божиих врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищею псам и вранам!» и в тот же день вышел обращённый к армии новый манифест: «...По трупам и костям пришли к пределам Империи. Остаётся ещё вам прейти за оные, не для завоевания или внесения войны в земли соседей наших, но для достижения прочной тишины... Вы – Русские! вы – христиане!»

За пределами империи манифесты Шишкова – вернее сказать, императора Александра I, – звучали в переводе на немецкий и французский языки. Поступали отчёты, что обращения эти «с жадностью читаются, возбуждают дух народный и производят великое действие над умами»; в Пруссии пасторы требовали себе всё новых и новых списков.

«Прусаки, действительно, оказывали великую радость, – пишет Шишков о шествии русской армии. – В поляках, напротив, не приметно было никаких восторгов; одни только жиды собирались с весёлыми лицами к домам, где останавливался государь, и при выходах его кричали: “Ура!”»

Весь зарубежный поход Александр Семёнович Шишков находился в действующей армии; но оружия в руки уже не брал – воевал пером.

Множество разнообразных приключений он описывает в своих воспоминаниях, стеснительно умалчивая, что ему, морскому офицеру, да и немолодому уже человеку, было непривычно и трудно держаться в седле, так что он старался передвигаться на коляске. Несколько раз отставал от императора; однажды, запутавшись, миновал город, где была ставка, и на тридцать вёрст уехал в сторону Наполеона, только по дороге узнав, что фактически стал уже авангардом русской армии.

«Где наши, где неприятель, что делается, – ничего не знаем, – писал в другой раз жене. – Положение самое несносное! Лишь только станешь приближаться к месту, где должна быть решительная битва, то и оставайся один там, где хочешь... Близко быть худо, далеко тоже. В обоих случаях, после неудачного сражения все ускачут, или в сторону, или мимо тебя по другим дорогам назад, так что ты о том не скоро и проведаешь. Тогда, по доходящим до тебя посторонним и часто неверным слухам, гонись за ними по таким путям, где от ущелин, или гор, или стеснившихся обозов иногда проехать трудно, или совсем нельзя, и в этом прекрас-

ном состоянии того и жди, что или неприятель на тебя наскочет, или сам ты пойдешь к нему в гости. В первом из сих положений находился я, когда сражение было под Люцином, во втором – когда под Баудином...»

Предположения Шишкова о том, что Наполеон знает, кто является автором манифестов, и читал их, были небеспочвенны. Французский император был бы обрадован, получив в качестве пленника русского вице-адмирала, чьи рассказы о нём и его поражениях потешали всю Россию, а теперь ещё и Европу.

Надо было бы старику Шишкову выпросить себе охрану, но он считал то неприличным: до него ли, когда такое.

У границ Франции Шишков писал: «...Везде врагу предстоит гибель. В единой быстроте бегства остаётся ему искать спасения. Знамена его, орудия, снаряды, полководцы, начальники, воины в невероятном множестве падают и преклоняются перед победителями. Неприятель с малыми остатками изнурённых сил своих вогнан в пределы своего царства. Мы на берегу Рейна, и Европа освобождена».

Шишковские манифесты – отличный образец работы с массовым сознательным и бессознательным. Мощное воздействие этих текстов объясняется довольно просто: Шишков отлично знал священные книги, постоянно их перечитывал, делал оттуда выписки, и этой интонацией владел не потому, что заимствовал её, а потому, что она стала его собственной.

В записках Шишкова есть признание, как однажды он пришёл к Александру I и предложил ему почитать вслух самые любимые места из священных книг. «Он согласился, и я прочитал их с жаром и со слезами. Он также прослезился, и мы оба с ним довольно поплакали».

Вообразите себе: сидят император, периодически принимающий командование войсками, и вице-адмирал – и обливаются слезами над Псалтырём; дорогая сердцу картина.

Осознавая и болезненно перенося то, что основная тяжесть войны пала на русских, Шишкову крайне унижительными казались наши старания удержать при себе Австрию, чтоб она не покинула союз.

Он описывает забавное происшествие, когда несколько австрийцев напали на русского солдата и били его. Заметив проходившего мимо офицера, солдат закричал: «Ваше благородие, позвольте ответить им? Я их разом положу... А то государь повелел не обижать австрийков».

«Снисхождение слишком великое! – печалился Шишков. – Наполеон не так поступал с ними – и они, вместо гордости, пред ним трепетали».

Жене своей в письме отчитывался с нескрываемой иронией: «Сегодня встречали прусского короля. Пропасть разных войск было в параде. Три царя ехали верхами. Четвёртый (баварский) приезжал с визитом к государю. А сколько ещё князей! У всякого двор, министры, генералы, а у этих секретари, адъютанты... Подумай, какая куча! Скачут, бегают, верхом, в каретах, пешками. А тут маршируют, барабанят, кричат “ура!”. Все в лентах, в звёздах, в шишаках с высокими перьями... на всё это смотрю не только с равнодушием, а даже со скукою».

Описывает Шишков и очередную пропагандистскую кампанию, которую устроил Наполеон, будучи загнан в пределы своего государства: «Об нас, русских, разглашал он, что мы варвары, которые жарят и едят малых ребят, что мы не имеем ни малейшего уважения к женскому полу и что ежели придем в их землю, то смешаем нечистую кровь с их чистой...»

Однако, удивляется Шишков, «...француженки не очень баснями его напуганы... напротив, многие из них любопытствуют увидеть сих варваров и почитают невеликою бедою, если через несколько времени вокруг них будут прыгать маленькие козаки и башкирцы».

Намучившись в европейских переходах и переездах, Шишков выпросил себе отпуск – и новость о взятии Парижа застал, будучи в Пруссии.

Запомнил, как во всякий момент, когда бы он (или любой другой русский в воинской форме) ни появлялся на улице, тут же набегали мальчишки с криками: «Ура, казак!». Женщины улыбались, мужчины размахивали шляпами, а вокруг весна – счастливейшее время победы...

В тот год Шишков имел полное право напомнить о разладе с «прогрессивной» российской прессой, начавшемся ещё в 1804 году: «...Вы помните, как господа “Вестники” и “Меркурии” против меня восстали. По сочинениям их, я был такой преступник, которого надлежало запереть, и взять с меня ответ, каким образом дерзнулся я говорить, что русскому надобно русское воспитание. Они упрекали меня, что я хочу ниспровергнуть просвещение и всех обратить в невежество, что я иду против Петра, Екатерины, Александра и проч.; тогда они могли так влиять, надеясь на великое число заражённых сим духом, и тогда должен я был поневоле воздерживаться; но теперь я бы ткнул их носом в пепел Москвы и громко сказал: вот чего вы хотели».

Но напрасно Шишков предполагал, что его оппоненты влиять более не могут.

Уже в сентябре 1814 года император Александр I освободил Шишкова от должности государственного секретаря, разом от себя отдалив и на просьбы об аудиенциях последовательно не реагируя.

Удивляться тут нечему.

Призыв Шишкова на вершины государственного управления в 1812 году и быстрое удаление его вскоре после победы – в известном смысле наша традиция. Сначала, в годину военного противостояния, неистовые ревнители и патриоты Отечества вдруг оказываются нужны. По завершении войны всякий раз выясняется, что взгляды их на жизнь слишком суровы и, в общем, надо немного поспокойней себя вести; а то от вашего «к ружью» и «вы – Русские!» несколько мутит-с.

Но вот должность председателя Академии Российской, на которую Александр I назначил его в 1813 году, останется при нём.

Под руководством Шишкова Академия продолжила составление «Словаря Академии Российской»; сам он добавит туда примерно тысячу слов. В конечном итоге словарь будет включать 51 388 слов. Издадут также «Техно-ботанический словарь», «Общий церковно-славянско-русский словарь», этимологический «Русско-французский словарь» и проч; откроют 32 библиотеки в губернских городах, издадут множество книг по истории, готовят новую «Русскую грамматику», примут, заметим, в состав Академии Николая Михайловича Карамзина, опубликуют множество стихотворных сборников крестьянских поэтов – невиданное в то время дело! – Шишков, по сути, заложит этим традиции русской почвеннической поэзии. В общем, работа в Академии – ещё одна сфера деятельности, где он точно заслужил себе памятник; но не последняя.

В февраля 1824 года Александр Семёнович Шишков был произведён в чин полного адмирала.

Во флотской иерархии адмирал – первый чин, соответствующий армейскому генерал-аншефу. Из числа русских литераторов

Шишков достиг наивысшего армейского звания (хотя несколько сухопутных генералов рангом ниже среди первостатейных наших поэтов всё-таки впоследствии появится).

Воевать, и даже наблюдать войну семидесятилетнему адмиралу Шишкову уже не придётся, а вот поработать на благо Отечества – очень даже.

В том же 1824 году он займёт кресло министра народного просвещения и главноуправляющего делами иностранных вероисповеданий, став одним из трёх литераторов того вре-

мени – наряду с поэтом Державиным и поэтом Иваном Дмитриевым, – взявших ещё и министерскую ступень в государственной иерархии.

В этой должности Шишков разовьёт нешуточную деятельность против Российского библейского общества, близкого к масонским кругам.

В выражениях он не стеснялся и прямо объявлял, что масоны проповедуют заёмные «у чужеземных лжеучителей злостивые правила» – и всё это совершается «под видом изъяснения таинств природы, толкования Священного писания и защищения прав гражданина и человека».

Своего Шишков постепенно добьётся: Библейское общество будет закрыто новым императором, Николаем I, весной 1826 года.

Однако скорость, с которой Шишков наживал себе недоброжелателей, была такова, что в апреле 1828 года последует его отставка с поста министра просвещения.

Ему оставят в управлении Академию Российскую – куда в 1832 году он примет поэта и боевого офицера Павла Катенина, писателя и боевого офицера Михаила Загоскина и, наконец, Пушкина.

Изменение отношения Пушкина к Шишкову кажется нам очень показательным. Отчасти оно характеризовало Пушкинскую эволюцию от взглядов демократических – ко взглядам консервативным.

В 1816 году в послании «К Жуковскому» Пушкин разносит в пух Шишкова и его окружение:

Далёко диких лир несётся резкий вой,
Варяжские стихи визжит варягов строй.

Здесь уместно вспомнить художественную конспирологию одного нашего современника, который уверен, что коренными жителями России поочерёдно управляют варяги и хазары. Себя он добродушно относит к угнетаемому «коренному населению».

Характерно, что у сего автора в его разнообразной публицистике и в многочисленных романах современные «варяги» тоже сплошь и рядом «визжат», «воют», «срываются на визг» – ну, почти как у семнадцатилетнего Пушкина.

Согласно этой конспирологической теории, Шишков безусловно был «варягом».

Характерно, впрочем, что со временем «варяжский строй» так или иначе пополнит сам Пушкин.

В том же 1816-м он ещё пишет остроумные вирши на тему, как «...мучить бледного Шишкова / священным Феба языком».

В 1821 году, придумав замечательное слово «вольнлюбивый», Пушкин иронично надеется, что «почтенный А.С.Шишков даст» новому слову «право гражданства в своём словаре, вместе с шаротыком и с топталищем».

А уже в 1825 году Пушкин пишет о Шишкове в стихах совсем другое:

Министра честного наш добрый царь избрал,
Шишков уже наук правленье восприял.
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою Двенадцатого года;
Один в толпе вельмож он русских муз любил,
Их, незамеченных, созвал, соединил;
От хлада наших дней укрыл он лавр единый
Осиротелого венца Екатерины.

Говоря про русские музы, которых Шишков соединил, Александр Сергеевич имел в виду, естественно, «Беседы любителей русского слова». Но ведь это пишет тот самый Пушкин, что входил в литературное общество «Арзамас», где долгое время не проходило ни одной встречи без издевательств над Шишковым и шишковцами! По сути, борьба с «Беседой...» была главной задачей «Арзамаса».

В конце мая того же года Пушкин пишет критику, поэту и офицеру Александру Бестужеву-Марлинскому: «...Ты умел в 1822 году жаловаться на туманы нашей словесности – а нынешний год и спасибо не сказал старику Шишкову. Кому же, как не ему, обязаны мы нашим оживлением?» – то есть Пушкин порицает, что в ежегодных своих обзорах русской словесности Бестужев-Марлинский не упомянул Шишкова. И это последние строки письма, что само по себе подчёркивает важность этой претензии.

Так, шаг за шагом, Пушкин оценил огромность этой фигуры, пришедшей из славных екатерининских времён.

Уже тогда Пушкин понимал то, о чём позже спокойно и вдумчиво напишет Сергей Тимофеевич Аксаков: «Никогда Шишков ничего для себя не искал, ни одному царю лично он не льстил; он искренне верил, что цари от Бога, благоговел перед ними. Шишков без всякого унижения мог поклониться в ноги своему природному царю; но, стоя на коленях, он говорил: “Не делай этого, государь, это нехорошо”».

Рискуя провести слишком вольную аналогию, всё-таки скажем, что Шишков занимал в своё время ту же нишу, что в наши дни должен был (и пытался) занимать Александр Андреевич Проханов. Призывая в трудные времена Шишкова, власть монархическая разрешала те задачи, которые могла бы разрешить власть позднесоветская и постсоветская, призвав Проханова (да не призвала).

Они и внешне кажутся похожими – Александр Семёнович и Александр Андреевич: чуть всклокоченные, всё время вроде бы усталые и замученные бесчисленным количеством дел, к старости начавшие терять зрение, и при этом удивительно бодрые старики, желающие давать советы императорам, вечно ходящие в мракобесах и ретроградах, но на самом деле смотрящие далеко вперёд, прозорливые и последовательные, как мало кто.

Выйдя в отставку, Шишков жил по очередному своему петербургскому адресу – в небольшом двухэтажном каменном доме на Литейном, против лютеранской кирхи: Фурштатская улица, 14. Жену его звали Дарья Алексеевна, урожденная Шельтинг – она была голландка и лютеранка (деда её когда-то пригласили на службу в Россию, и он дослужился до адмиральского чина; по всей видимости, брак этот состоялся ещё во флотскую жизнь Шишкова).

В свет эта пара выезжала редко: жена плохо говорила по-французски – она ж голландка, а не русская, её никто в варварстве не обвинит за это; да и танцевать не любила.

Говорят, отношение Шишкова к ней было до такой степени своеобразным, что он её периодически не узнавал, и порой путал жену с другими женщинами. Сдаётся, дедушка дурачился: ведь всех остальных он помнил.

Когда жена умерла, он женился во второй раз – на 28-летней польке и католичке Юлии Осиповне Нарбут. Несмотря на свой возраст, Шишков оставался в чинах и при должностях, а значит, был завидным женихом.

Детей у него не было, но Александр Семёнович воспитывал двух племянников, оставшихся после смерти брата Ардалиона.

Один из племянников – Александр Ардалионович Шишков – стал поэтом, воевал на Кавказе, гусарил, пил...

Во всех этих историях, признаться, есть некие парадоксы: ревнитель православной веры и русофил Шишков женится сначала на голландке и лютеранке, а затем – на польке и католичке. Позднее этот монархист и противник всякого якобинства воспитывает пле-

мянника, писавшего революционные стихи, дружившего с декабристами, годами находившегося под полицейским надзором, а после восстания на Сенатской угодившего в Петропавловку по подозрению в сопричастности к бунту (из крепости влиятельнейший отчим вызволил Шишкова-младшего уже на другой день).

Старику Шишкову поневоле приходилось относиться ко всему более философски: пытался спасти целое Отечество – а собственные воспитанники, можно сказать – дети, разлетелись кто куда, и вразумить их оказалось невозможным.

Александра Ардалионовича зарезал его сослуживец в Твери в 1832 году: короткая и сложная судьба, которая ещё ждёт своего биографа...

К старости Шишков стал, несмотря на весь свой опыт и тысячи увиденных смертей – или, напротив, благодаря этому – человеком добрым, кротким и даже сентиментальным.

Был с ним один случай.

В своё время ещё Павел I подарил Шишкову триста крепостных душ – всё-таки генерал-адъютант, а едва сводит концы с концами. Но Шишков (хоть и был, к несчастью, сторонником крепостного права) не брал с крестьян оброка; то есть – совсем.

Спустя десятилетие к нему пришли ходоки из деревни. Говорят: «Барин, жить в Петербурге накладно, сход порешил передать тебе по тысяче рублей со двора за все эти годы – мы живём богато, и желаем тебе впредь оброк с нас брать».

Денег у них Шишков не взял, но пообещал в случае нужды ни у кого, кроме собственных крепостных, не занимать. Но самый лёгкий оброк потом, по настоянию друзей, всё-таки назначил – чтоб крестьяне совсем чудачком его не считали.

Жил дедушка Шишков так: маленький кабинет, окна выходили в садик, сухое киевское варенье и конфеты на столе – любил сладкое; там же стояла банка, полная восковых шариков, – во время размышлений он собирал воск со свечей и катал. Раз шарик, два шарик.

Дома держал попугая какаду. Тот часами сидел на плече и шептал ему что-то на ухо, а по утрам орал русские бранные слова – «низкая лексика» и тут Шишкова не покидала.

В 1836 году Шишков ослеп, и успокаивался тем, что кормил птиц с рук.

Всегда по голосам и цокоту коготков мог сказать, сколько птиц прилетело, и в количестве – всем на удивление – никогда не ошибался.

Это ладно; Аксаков рассказывал, что в последние годы Шишков начал пророчествовать, и раз за разом угадывал ближайшие политические события; а потом предсказал неизбежную революцию и падение царской фамилии. Другим его пророчеством было крушение Европы.

В 1841 году – мы упоминали об этом в самом начале – он впал в летаргический сон. Его собрались хоронить, приехал император, но Шишков тотчас проснулся, чем всех сначала напугал, а потом развеселил.

Потом уже умер по-настоящему, насовсем.

Похоронен был в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры.

Пётр Андреевич Вяземский, великий поэт и когда-то литературный неприятель Шишкова, запишет в дневнике: «15 апреля 1841. Отпевали Шишкова в Невском. Народа и сановников было довольно. Шишков не велел себя хоронить прежде шести суток».

(Опасался, что похоронят живого.)

«Шишков был, – запоздало признает Вяземский, – человек с постоянной волей, с мыслью, *idée fixe*, род литературного Лафайета; кричал, писал всегда об одном; словом, имел личность свою и потому создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире. А у нас люди эти редки, и потому Шишков у нас всё-таки историческое лицо.

Я помню, что во время оно мы смеялись нелепости его манифестов, но между тем большинство, народ, Россия читали их с восторгом и умилением, и теперь многие восхищаются их красноречием; следовательно, они были кстати...»

...Человек умер – и только тут его рассмотрели. По крайней мере, Вяземский рассмотрел; и славно, что так.

Шишкова, если задуматься о судьбе его, можно запомнить таким, каким он отправился в своё вечное плавание: усыхающий, ослепший старик, голова – в седых, поредевших, но всё ещё непослушных волосах, отдающих желтизной. Птицы сидят у него на подоконнике и ждут, когда насыпят зерна. Светит холодное питерское солнце, но он его не видит. Зерна всё нет, и птицы волнуются: цок-цок-цок – переходят с место на место. Банка с восковыми шариками стоит полупустая.

Но можно запомнить его и совсем другим: полный сил капитан Александр Шишков, получивший в командование 64-пушечный корабль, захваченный у шведов во время Выборгского сражения, стоит на балтийских ветрах, и ветры ему нипочём. В любую минуту готов он «брань кровавую спокойным мерить оком» – как сам когда-то написал про Суворова.

Совсем недавно этот Шишков, будучи в числе русского морского воинства, едва-едва не взял в плен шведского короля. Хорошая была бы история: русский сочинитель драм, стихов и автор филологических изысканий – пленил короля!..

Но его история и так получилось неплохой; тем более, что она, странным образом, всё длится и длится.

«О, ринь меня на бой» Генерал-лейтенант Денис Давыдов



С Давыдовым вообще никаких вопросов:

Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!

И точка. Верней, восклицательный знак.

16 июля (по старому стилю) 1784 года в Москве был рождён самый известный генерал из числа прославленных русских поэтов и самый известный поэт из числа прославленных русских генералов.

В русской литературе множество отменных вояк, больше, чем на взвод, – наберётся и на роту, и на батальон, – прошедших через несколько войн, совершивших подвиги, награждённых всеми мыслимыми наградами...

Однако легендарный полководец и военный теоретик, чей опыт рассматривается в военных академиях, – только один: Давыдов.

В числе русских полководцев были заметные литераторы: иные писали стихи, другие оставили стоящие мемуары.

Но стать легендой и военной, и литературной – это и по мировым канонам нонсенс.

Давыдов мог написать больше, и место его в литературе имело шансы стать заметней; хотя оно и так неоспоримо.

Но воевать больше он не мог точно, потому что кочевал с войны на войну три десятилетия кряду и, хоть не дорос до генералиссимуса, народную славу заработал при жизни: ещё когда никакого Че не было в помине – бородатые портреты Давыдова шли нарасхват и у простолюдинов, и у аристократии, пленённые и битые им в огромных количествах воины двенадцати языков прозвали его «чёрным вождём», а по числу поэтических посвящений он

обгонял и старших по званию всему миру известных полководцев, и самого государя императора.

Итак.

По прямой линии Давыдов происходил от татарского князя Тангрикула Кайсыма, царя Городца-Мещерского. (Городец-Мещерский с 1471 года в честь умершего царя Кайсыма стал носить его имя – Касимовское. Отсюда городок Касимов в Рязанской области.)

Летом 1468 года младший сын Кайсыма Минчак явился в Москву, присягнул на верность великому князю Ивану III, принял православие и стал в крещении Симеоном, Сёмкой. С 1500 года Сёмкины дети уже имели вотчины в Нижегородской и Симбирской губерниях. Одного из своих сыновей назвал он Давыдом. Давыд Семёнович стал родоначальником рода Давыдовых.

Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель, озорник с аршинными усами,
На ухарском коне, как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал во вражий стан
И мощно рассекал татарскою рукою
Всё, что противилось могущему герою.
Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене лёгоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранню прю...

(«Графу П.А.Строганову», 1810)

Василий Денисович, отец нашего героя, был богат: имения в Московской, Орловской и Оренбургской областях. Он командовал Полтавским легкоконным полком, стоявшим в Полтавской губернии.

В 1788 году на манёврах под Полтавой четырёхлетний Денис видел императрицу Екатерину Великую. Сам того не помнил, но отец при случае напоминал: видел-видел, и она тебя.

«Забавы детства моего состояли в метании ружьём и в маршировании, а верх блаженства – в езде на казачьей лошади со спокойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска, – вспоминал Давыдов. – Как резвому ребёнку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря?»

В 1792 году корпус, куда входил легкоконный полк Василия Денисовича, перешёл в подчинение генерал-аншефа Александра Суворова.

«Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, – напишет Денис Давыдов, – но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время её путешествия в Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не более ста шагов. Я и брат мой жили в лагере. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку не снятую. Я осведомился о причине такого неожиданного происшествия: мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона, в простой курьерской тележке...»

Воспоминания эти являются обязательными в любом очерке о Давыдове (начиная с Белинского); не отступим от традиции и мы.

«За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова, или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую

полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят “Генерал-марш”... Но, невзирая на всё наше внимание, мы не слышали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в эту ночь, но никогда ни прежде, ни после этого не делал, и что всё это была одна из выдумок и преувеличенных странностей, которые ему приписывали».

«...Около десяти часов утра всё зашумело вокруг нашей палатки: “Скачет, скачет!” Мы выбежали и увидели Суворова во ста саженьях от нас, скачущего во всю прыть... Я был весь взор и внимание; весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу... впереди толпы Суворова, на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком, полотняном нижнем платье, в сапогах, вроде тоненьких ботфорт, и в лёгкой, маленькой солдатской каске... Когда он нёсся мимо нас, любимый адъютант его Тищенко закричал ему: “Граф! Что вы так скачете? Посмотрите, вон дети Василия Денисовича!” “Где они, где они?” – спросил он, и, увидя нас, поворотил в нашу сторону... Он благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: “Любишь ли ты солдата, друг мой?” – “Я люблю графа Суворова; в нём всё: и солдаты, и победа, и слава!” – “О, помилуй Бог, какой удалой! – сказал он. – Это будет военный человек, я не умру, а он уже три сражения выиграет!”»

В другом своём сочинении Давыдов со свойственной ему иронией продолжит эту историю так: «Маленький повеса... замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека».

Зимой семья Давыдовых жила в Москве, лето проводила в родовом поместье Бородино – да, в том самом.

28 сентября 1801 года, шестнадцати лет, Денис Давыдов был зачислен эстандарт-юнкером в Кавалергардский, лучший в Российской императорской гвардии полк.

Спустя год он произведён в корнеты, ещё через год – в поручики; расти в званиях Давыдов будет стремительно, до какого-то времени гораздо быстрее того же Суворова – который, к сожалению, побед Давыдова не дождался, умер в 1800-м.

Изначально Давыдов проявит себя не на военном поприще, а на литературном. К 1803 году он вдруг сочинил три преостроумнейшие басни.

«Голова и ноги» – когда ноги говорят голове: «...Можем иногда, споткнувшись – как же быть, – / твоё могущество о камень расшибить».

«Река и зеркало» – о монархе, сетующем на критику, и тем схожем с безобразным ребёнком, желающим разбить зеркало.

И «Орлица, Турухтан и Тетерев»: под Орлицей там имелась в виду Екатерина Великая («Любила истину, щедроты изливала»), под Турухтаном (птица кулик) – недавно убитый заговорщиками император Павел I, а под Тетеревом – находящийся на троне император Александр I («Хоть он глухая тварь, / Хоть он разиня бестолковый... / Но все в надежде той, / Что Тетерев глухой / Пойдёт стезёй Орлицы...»)

Ну и следом ещё сатирическую виршу «Сон», где прошёлся по петербургской знати, задев несколько вельможных особ, зато собственную персону описав – всем на загляденье:

Гляжуся, радуюсь, себя не узнаю:
Откуда красота, откуда рост – смотрю;
Что слово – то *bon mot*, что взор – то страсть вселяю,
Дивлюся – как менять интриги успеваю!

Даром, что и сам он таковым себе является лишь во сне (Давыдов был ростом мал, и круглая его наглая гусарская рожа с носом пуговкой образцом красоты не была, даже голос

он имел высокий, как это порой называется – «бабий»; в общем, цитируя всё то же стихотворение, «носил с натяжкой название человека»).

В литературу Давыдов ворвался кавалерийским броском – никакого ученического периода не было – в девятнадцать лет сразу с классическими, шампанскими текстами; правда, что по тем временам, что по нынешним – оглушительно нахальными.

Басни его и «Сон» разошлись в списках чуть шире, чем предполагал Давыдов.

Надо понимать, что кавалергарды были наиболее близки к престолу и служили в буквальном смысле при дворе – внутренние караулы, дворцовые комнаты; то есть Денис Давыдов не раз видел Тетерева... тьфу ты, императора лично, проходящего мимо, а тот мог обратить внимание на глазастого корнета.

Каково же было наказание? В 1804 году поручика Давыдова всего лишь перевели ротмистром в Белорусский гусарский полк, стоявший в Киевской губернии. Стоит оценить благородство молодого императора: поступить с этим наглецом он мог куда хуже.

По пути Давыдов узнал, что слава опережает его – стоявшие за сотни вёрст гусары уже читали его стихи, долетевшие сюда, и в силу сих замечательных обстоятельств ещё в Сумах, по пути к своему полку, Денис Васильевич устроил трёхдневную пьянку.

«Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, – пишет о себе Давыдов в третьем лице в «Автобиографии...», – покачнул кивер на ухо, затынулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду. В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцеву».

Кстати, тоже шедевр. Там Давыдов, зазывая в гости товарища, описывает своё новое житьё-бытьё:

Вместо зеркала сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет
Два любезные уса.
А наместо ваз прекрасных,
Беломраморных, больших,
На столе стоят ужасных
Пять стаканов пуншевых!
Они полны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар.
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар!

Давыдов явился поэтическим предвестником Пушкина, прямо говоря, случайно: он не собирался быть поэтом. Отсюда его восхитительная поэтическая легкомысленность – свободная жестикуляция, воздух, остроумие: всё то, что будет столь характерно для пушкинского гения. Если б Давыдов изначально собрался писать всерьёз, для публикаций, ничего подобного у него б не получилось – но, напротив, имела бы место некоторая выпренность. Давыдов же позволил себе говорить собственным голосом, простейшими словами, сочинять, самому себе посмеиваясь, с похмелья или едва похмелившись, – и вышло на ура.

Как мы видим, в своей «ссылке» даже лёгкого подобия раскаяния Давыдов не испытал. Дальше войны всё равно не сошлют, понимал он, о войне мечтая как о романтической встрече.

Тут и война подоспела.

Наполеон уже хозяйничал в Европе, молодой российский император принял решение направить туда генерал-фельдмаршала Михаила Каменского с войском.

Давыдов пишет: «Как бешеный, я пустился в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку, идущему за границу».

К Каменскому Давыдов не попал, но его взяли адъютантом к Петру Ивановичу Багратиону, командующему авангардом армии.

К тому самому Багратиону, по поводу которого Давыдов в стихотворении «Сон» не так давно острил, что у него «нос вершком короче стал» – все знали о длинном, с горбинкой носе уже легендарного военачальника. Так что и Багратион оказался не обидчив; какие светлые люди жили тогда – то не заморачивались о пустяках, то из-за других, по нашим меркам, тоже пустяков, стрелялись на дуэлях.

По пути к месту службы, 15 января 1807 года, Давыдов произведён был в штаб-рот-мистры.

Уже на месте встретил среди офицеров множество своих петербургских приятелей, которые, вспоминал Давыдов, «...вздыхали о петербургской роскошной жизни. “Глупый ты человек, – говорили мне они, – чёрт тебя сюда занёс! Как дорого бы мы дали, чтоб возвратиться назад! Ты ещё в чаду, мы это видим, – погоди немного, и мы услышим, что ты скажешь”. Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что я заранее знал, куда еду: туда, где дерутся, а не туда, где целуются, и уверен был и буду, что война не похлёбка на стерляжьем бульоне».

«Не могу описать, с каким восторгом, с каким упоением я глядел на всё, что мне в глаза бросалось! Части пехоты, конницы и артиллерии, готовые к движению, облегали ещё возвышения справа и слева – в одно время, как длинные полосы чёрных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук колёс пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами; самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не выдавших крыши, закопчённых дымом биваков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и плащами, – всё это благородное безобразие, знаменующее понесённые труды и опасности, всё неизъяснимо электризировало, возвышало мою душу! Наконец я попал в мою стихию!»

Военные свои записки Давыдов писал так, как ни один русский генерал позже не умел. Более того, все романы о Давыдове на фоне его собственных записок беспощадно блёкнут.

«Мы вступили, как я сказал, на равнину Морунгенской битвы...

Я из любопытства рассматривал поле сражения. Прежде ездил по нашей, а потом по неприятельской позиции. Видно было, где огонь и где натиски были сильнее – по количеству тел, лежавших на тех местах. Артиллерией авангарда нашего командовал тогда полковник Алексей Петрович Ермолов, и действие её было, во всём смысле слова, разрушительно в пехотных колоннах и линиях неприятельской конницы, ибо целые толпы первой и целые ряды последней лежали у деревни Пфаресфельдшен, поражённые ядрами и картечью, в том же порядке, как они шли или стояли во время битвы.

Вначале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искажённые и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особого впечатления; но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я – со стыдом признаюсь – дошёл до той степени беспокойства относительно самого себя или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения и безобразия. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, то я легко бы увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, ибо чем рана смертоноснее, тем страдание кратковременнее, – а какое дело до того, что после смерти будешь пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя! Слава богу, с рассветом дня последовало

умственное мое выздоровление. Пришел в первобытное состояние, я сам над собою смеялся и, как помнится, в течение долговременной моей службы никогда уже не впадал в подобный пароксизм больного воображения».

«Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи!» – пишет Давыдов.

Или, о том же, в отличных, написанных уже после навсегда пережитых пароксизмов воображения стихах:

...гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон – ив сечу!
Вот пир иной нам Бог даёт,
Пир зазорней, удалее,
И шумней, и веселее...
Ну-тка, кивер набекрень,
И – ура! Счастливый день!

Едва появившись в месте боёв, Давыдов стал искать, где бы ему и поскорей совершить подвиг. Он вызвался в переднюю цепь, якобы чтоб смотреть за неприятелем. Там и приметил разодетого французского офицера, стоявшего наособицу и наблюдающего за русскими.

Неподалёку были казаки, и, подъехав к ним, Давыдов попытался подбить их взять офицера в плен. Казаки оказались опытными вояками, посему адъютанту мягко отказали: «Не к чему головы подставлять, вашебродь».

Тогда раздосадованный и одновременно праздничный Давыдов рванул сам к этому офицеру, возле которого уже собрались французские кавалеристы, подозревающие, что затеяется нечто нехорошее.

На скаку Давыдов выстрелил в офицера из пистолета, но... не попал.

В Давыдова выстрелили в ответ, да не по разу, все французские кавалеристы, и тоже промахнулись; а вполне могло б получиться так, что рассказ наш здесь же и оборвался бы.

Сделав круг, Давыдов вернулся: не настолько близко, чтоб в него могли легко попасть, но достаточно для того, чтоб крикнуть – и быть услышанным.

На своём отличном французском Давыдов стал вызывать француза на личный поединок. Тот в ответ кричал что-то обидное. Давыдов обзывать тоже умел, и они начали друг друга витиевато поливать, причём наш герой иногда переходил на русский – тут выбор казался шире.

Наконец, один из казаков подъехал к Давыдову и ласково попросил:

– Ваше благородие, *отражение* – святое дело, ругаться в нём – всё то же, что в церкви: Бог накажет!

О, тихая мудрость русского человека.

Поняв, что тут порывов души его не понимают, Давыдов умчался обратно к Багратиону.

Исполнив очередное его поручение, но не успокоившись, вернулся на то же самое место, и на этот раз уговорил казаков атаковать французский авангард.

Казаки согласились, Давыдов выстроил их, гусар и улан, и пошёл в первый в своей жизни бой.

...Вот уже бешеные лица противников – выстрел, мимо, выстрел, мимо, – сабли наголо, бьют по нему, отразил с лязгом, ещё бьют, увернулся, – бьёт сам и видит даже не кровь чужую – а мясо...

Схватка продолжалась несколько минут, обратить в бегство французов не удалось; пришлось возвращаться к своим позициям.

Давыдов, и разгорячённый, и удручённый – как же, не получилось наскоком погнать противника, – помчался обратно к Багратиону и по пути попал навстречу французским конным егерям.

Захлопали выстрелы.

Лошадь Давыдова ранили, подоспевший француз ухитрился схватить Давыдова за гусарский плащ. Давыдов с необычайной ловкостью выпростался из плаща – и оставил его в руках француза, но лошадь его уже начала заваливаться...

Вот тебе и «кура, счастливый день».

...Если б не подоспевший казачий разъезд – лежал бы адъютант Багратиона с маленькой пулькой в молодом теле или с неприятным, от сабельного удара, расколом посреди задорной головы.

Давыдову дали коня из-под убитого гусара – и он был спасён.

За первое же своё дело Давыдов получил орден Святого Владимира 4-й степени. Наградные листы (рескрипты) подписывал сам император: как выяснилось, зла он на Давыдова не держал. Багратион одарил бесшабашного адъютанта собственной буркой взамен сорванного плаща.

Уже через день Давыдов участвует в сражении при Прейсиш-Эйлау.

Там он переживёт полтора дня артиллерийской бомбёжки: «...широкий ураган смерти, всё вдребезги ломавший и стиравший с лица земли всё, что не попадало под его сокрушительное дыхание...».

Французской армией в том сражении командовал сам непобедимый Бонапарт, к тому ж у французов было численное превосходство.

В чудовищном грохоте, меж разрывов и бессчётных смертей, Давыдова непрерывно гоняли к передовой с теми или иными приказами.

Арьергардные части, которые возглавляли Багратион и Барклай-де-Толли, должны были прикрывать отступление русской армии.

Прейсиш-Эйлау был оставлен русскими: победить Наполеона было ещё не по силам. Но день, который арьергардам надо было отстоять, – они выстояли.

25 мая Давыдов участвовал в деле под Гуттштадтом, 29 мая под Гейльсбергом – за этот бой он был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, 14 июня под Фридландом – и получил золотую саблю «За храбрость».

Ещё одна цитата из воспоминаний Давыдова.

«На перестрелке взят был в плен французский подполковник, которого имя я забыл. К несчастью этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот нос стрелой насквозь, но не навывлет; стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзённого носа, так, чтобы вынуть её справа и слева, что почти не причинило бы боли и ещё менее ущерба этой громадной выпуклости, – один из башкирцев узнаёт оружие, ему принадлежащее, и хватает лекаря за обе руки. “Нет, – говорит он, – нет, бачка, не дам резать стрелу мою; не обижай, бачка, не обижай! Это моя стрела; я сам её выну...” – “Что ты врёшь, – говорили мы ему, – ну, как ты вынешь её?” – “Да, бачка! возьму за один конец, – продолжал он, – и вырву вон; стрела цела будет”. – “А нос?” – спросили мы. – “А нос? – отвечал он, – чёрт возьми нос!...”

Можно вообразить хохот наш.

Между тем подполковник, не понимая русского языка, угадывал, однако ж, о чём идёт дело. Он умолял нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали...»

По общим итогам кампании Давыдова наградили Прейсиш-Эйлауским крестом и прусским орденом «За заслуги» – целый звездопад.

После подписания печального для России Тильзитского мира с Наполеоном в июле 1807-го Давыдов надолго без дела не остался: «Первый слух о войне со Швецией и о движении войск наших за границу выбросил меня из московских балов и сентиментальностей к моему долгу и месту, как Ментор Телемака, и я не замедлил догнать армию нашу в Шведской Финляндии на полном ходу её».

Россия вела в тот раз наступательную войну, решая давнюю проблему: надо было отогнать шведов подальше от Санкт-Петербурга, и с этой целью забрать у них Финляндию, которой они владели уже несколько веков.

Большинство финнов, как показалось сначала Давыдову, относились к русским совершенно равнодушно, так что перемещаться по территории, откуда выбили шведов, можно было вполне безопасно. К тому же Давыдов успел, как сам признался, оценить «довольно свежих и хороших» финнов.

В марте 1808 года Давыдов догнал давнего своего знакомого генерала Якова Петровича Кульнева, автора чудесного признания: «Люблю нашу матушку-Россию за то, что у нас всегда где-нибудь да дерутся!». Кульнев впервые показал себя героем ещё в 1794 году, штурмуя под началом Суворова Варшаву.

Теперь он стоял с авангардом в Гамле-Карлеби (местечко на берегу Ботнического залива, севернее Вазы): три батальона егерей, два эскадрона гродненских гусар, казачьи сотни и шесть пушек.

4 апреля Давыдов уже участвует в схватке близ селенья Пихаиоки: гусары и казаки атаковали шведских драгун прямо на льду Ботнического залива.

12 апреля Кульнев поручает Давыдову отдельное дело – это первый бой, где Давыдов выступил уже непосредственно как командир. Наверняка умолил Кульнева довериться ему.

Что ж, пробуй, Денис.

У Давыдова были гусарский эскадрон и полторы сотни казаков – то есть половина кавалерии авангарда! – видно, что Кульневу 24-летний штаб-ротмистр показался достойным воином.

Прошли ночью тридцать вёрст по льду залива и неожиданно ударили по острову Карлое – там была база для высадки шведского десанта, а также хранились хозяйственные и продовольственные запасы под охраной гарнизона. Гарнизон частично истребили, частично взяли в плен, базу сожгли и двинулись в обратный путь.

К базе тем временем была направлена шведская кавалерия – видимо, успели получить сигнал или заметили начавшийся пожар. Когда шведы явились, никого они уже не застали.

Давыдов, однако, далеко не ушёл. Шведская кавалерия оставила свою пехоту, естественным образом не поспевшую за лошадьми. Сделав круг, обойдя остров и объявившись на берегу, отряд Давыдова ударил в тыл пехоте и поверг её в смятение: несчастные шведские пехотинцы, неся большие потери, отступали двадцать вёрст до ближайшей деревни Люмиоки.

Вернувшийся только к следующей ночи Давыдов рисковал получить от Кульнева нагоняй за самоуправство – ему было приказано вернуться сразу после уничтожения базы; но в этот раз обошлось: заради случившейся победы простили штаб-ротмистра.

Тем более что вскоре Давыдов напишет стихи в честь Кульнева – это не могло не польстить генералу.

Давыдовское сочинение полно приметам той кампании: и финский этот колпак, по какой-то причине надетый Кульневым, явно не выдумка; догадываемся, чтение этих стихов сопровождалось хохотом слушателей – они-то знали, о чём речь:

Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

<...>

Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся;
Он воинов своих ко славе торопил:
«Вставайте, – говорит, – вставайте, я проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!
По чарке да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!»

К последней строчке Давыдов сделал примечание, что это цитата из приказа Кульнева о выступлении в поход за два часа до рассвета. Когда у него спросили, как же в темноте воевать, он ответил: как-как, в упор! – так видишь, кого бьёшь.

После нескольких месяцев кампании стало выясняться, что, увы, не всё местное население было настроено к русским благодушно.

Часто говорят, что события той войны впервые навели Давыдова на мысль о партизанщине. Возможно, и так; хотя ниже мы расскажем, отчего у нас несколько иное мнение. В любом случае с подобием партизанской войны Давыдов столкнулся здесь впервые.

Участник шведской кампании, впоследствии русский литератор с весьма своеобразной репутацией, Фаддей Булгарин в своих воспоминаниях пишет: «Саволакские стрелки, самые опасные наши неприятели в этой неприступной стране, были крестьяне лесистой и болотистой области Саволакса... Они были одеты в серые брюки и куртки из толстого сукна и имели круглые шляпы. Амуниция их была из простой чёрной сапожной кожи. В мирное время эти стрелки жили по домам своим, занимались хлебопашеством, рыболовством и звериными промыслами, и собирались ежегодно на несколько недель на ученье. Они дорожили ружейным зарядом и редко пускали пулю наудачу... Все они дрались храбро и были чрезвычайно ожесточены против русских».

Ну, и русские отвечали тем же. Булгарин описывает один случай.

«...Толпа казаков слезла с лошадей и чем-то занималась в стороне, шагах в двадцати от дороги... И что же?... Человек десять саволакских егерей, которых нагнали и забрали казаки, лежали раздетые в яме, а казаки, стоя в кружок, кололи их пиками... Нестеров⁴ сидел на лошади, смотрел спокойно на эту ужасную сцену и, сняв шапку, приговаривал: “Слава те господи! Погубили врагов белого царя! Туда и всем им дорога!...”»

Булгарин считает нужным добавить: «...Должно заметить, что взбунтованные крестьяне так же зверски умерщвляли наших солдат, захватив их врасплох».

Казаками – может, и не этими, но другими такими же головорезами, – Давыдов будет не раз командовать, и с отменным успехом.

⁴ Казацкий атаман.

Летом шведы начали наступление, стремясь вернуть потерянные финские земли, и несколько потеснили русских на юг. Гам-ле-Карлеби авангарду Кульнева пришлось оставить; но вскоре русские туда снова вернулись.

Давыдов участвовал во многих делах, в том числе, согласно формулярному списку, в сражении под Оровайсом.

Подробное описание этого дела оставил Фаддей Булгарин: «Между селениями Оровайсом и Карват Ботнический залив образует небольшую губу, довольно протяжённую внутрь земли острым своим концом. Вдоль морского берега пролегает большая дорога из Вазы в Нью-Карлеби и поворачивает влево в конце губы. На этом-то повороте была укреплённая шведская позиция. В море впадает в этом месте небольшая речка, протекающая через болота... Кирка Оровайси лежит за позицією, также на возвышении. Шведы примыкали своим правым крылом к утесистому берегу моря, где имели несколько канонерских лодок. На горе, в центре позиции, на большой дороге устроены были их батареи. Отсюда тянулись шанцы к полям и лугам до возвышений и утёсов, прикрывающих левый фланг, оканчивающийся в непроходимом лесу, заваленном засеками. Первая черта позиции была вышеупомянутая речка и болота, а кроме того, в разных местах были засеки, оберегаемые стрелками. Нельзя было приблизиться к позиции иначе, как под картечными выстрелами... Перед этою главною позицією была другая, также укреплённая, возле небольшого озера, из которого вытекает другая речка, также впадающая в море. За мостом находится мельница, за которою устроена была батарея, а вдоль рек проделаны засеки. В этом месте завязалось сражение, в двух верстах от кирки Оровайси.

Шведские посты были сначала сбиты и отступили к мосту. Стрелки наши растянулись правым флангом за озеро, а левым примкнули к морю и намеревались обойти озеро».

Шведы атаковали русских егерей на левом фланге и начали их теснить.

Тут в дело вступили Кульнев, Давыдов и brave их ребята. Натиск был остановлен.

Одно из орудий Кульнева было выставлено на дорогу и стреляло до тех пор, пока ружейным огнём шведы не перебили всех лошадей и почти всю команду, кроме офицера; их сменили другой командой. Шведы отошли за мост.

В это время на левом фланге, где стояли ребята Кульнева, произошла высадка с канонерских лодок. Началось шведское наступление в штыки по всей цепи; его сначала остановили, а затем в центр вывели четыре орудия и страшным огнем принудили шведов отступить. Но противник не унимался.

Булгарин пишет: «Сражение на целой линии продолжалось непрерывно, с величайшим ожесточением с обеих сторон, которые то отступали, то подавались вперёд, то перестреливались, то действовали штыками. Артиллерия не умолкала, и кровопролитие было ужасное! К вечеру наши войска, будучи принуждены согласно месторасположению сражаться враспынную, устали до невероятности. Не стало даже патронов. Перестрелка с нашей стороны сделалась слабее, и мы с трудом удерживали нападение неприятеля. Тогда шведские генералы Адлеркрейц и Фегезак, наблюдавшие центр с отборными и свежими войсками, стремительно сошли с возвышений на большую дорогу и стройными колоннами бросились в штыки на русских. Наши фланги, рассеянные в стрелках на обширном расстоянии, должны были поспешно отступать, чтоб не быть отрезанными от центра, подавшегося назад. Вся наша боевая линия обратилась в тыл, и шведы с радостными восклицаниями шли вперёд, провозглашая победу, которая казалась несомненною».

Но не тут-то было. Сын того Каменского, к которому когда-то Давыдов набивался в адъютанты, тоже военачальник, – граф Николай Михайлович Каменский – ещё утром послал приказание четырём батальонам Могилёвского и Литовского полков (около полутора тысяч человек) идти на подкрепление к Оровайсу из Вазы.

«Никто не догадывался о намерении графа Каменского, – пишет Булгарин, – и все предполагали, что бой уже кончен».

Едва на дороге появились батальоны, граф Каменский бросился к ним:

– Ребята, за мной! Наши товарищи устали; пойдём выручим их и покажем шведам, каковы русские! Вы знаете меня, я не уйду отсюда жив, если мы не разобьём шведов в пух. Не выдайте, ребята!

Ну, и не выдали.

Булгарин: «Ничто не может сравниться с удивлением шведов при этом неожиданном нападении; они воображали, что дело уже кончено... Настала резня, а не битва. Дрались врукопашную, на штыках. Голос Каменского возбуждал в наших новый жар к битве. “Ребята, не выдавай! Вперёд! Коли!” – кричал граф Каменский, и наши солдаты бросались в ряды и вырывали ружья у шведов. Между тем по всей линии нашей ударили в барабаны поход; раздалось: “Ура! Вперёд!” – и все полки снова обратились на неприятеля».

По приказу Каменского все командиры поменялись местами, и Кульнев с Давыдовым теперь оказались в центре.

Другой отряд пошёл через засеки и каменную сыпь в обход шведов и к десяти вечера добрался до места назначения – а на поле битвы всё это время продолжались то перестрелка, то рукопашная попеременно. Всё уже было в тумане и полумраке.

«Лишь только граф Каменский получил известие, что обход наш уже на месте, – пишет Булгарин, – тотчас дал сигнал к повсеместной атаке, и наши с криком “ура!” бросились в штыки на неприятельские шанцы и батареи и тотчас овладели ими. Храбрые, но изумлённые этим неожиданным и отчаянным нападением русских шведы обратились в бегство в величайшем беспорядке. Их преследовали штыками две версты, за кирку Оровайси, где граф должен был остановиться, потому что от усталости наши солдаты еле двигались. Невзирая на это, Кульнев с авангардом пошёл вслед за неприятелем, который остановился за сожжённым мостом в пяти верстах от Оровайса».

(Неутомимого Давыдова только сожжённый мост и мог остановить.)

Между тем Булгарин сообщает, что в ночи «...солдаты были так измучены, что не хотели даже варить пищи». Бой длился 17 часов!

Так, после нескольких сражений русские взяли всю Финляндию.

Однако на мир шведы всё ещё не соглашались, тем более что за Швецией стояла Англия, которая находила поведение России неприемлемым.

Посему в российских штабах возникла идея перейти зимой Ботнический залив, вступить уже на шведские земли и затребовать мира непосредственно возле Стокгольма: чтоб король Густав IV, сын едва не попавшего в плен на прошлой русско-шведской войне Густава III, мог воочию узреть, что его ждёт.

Корпус Барклая-де-Толли (куда попал упомянутый Булгарин) должен был двигаться по заливу с севера. Корпус Багратиона, заняв Аландские острова, должен был выйти к Стокгольму – авангард этого корпуса возглавил Кульнев с неизменным Денисом Давыдовым в ближайших боевых товарищах.

Первыми вступили на балтийский лёд войска Багратиона – было это в первые дни марта 1809 года. Багратионовский корпус состоял из 15 тысяч человек при 20 орудиях.

В корпусе Багратиона воевал в том походе ещё один молодой поэт – Константин Батюшков. Давыдов мог проехать мимо пешего Батюшкова, не догадываясь, что два будущих великих русских поэта оказались в таком необычном месте: на белом просторе под ледяным небом.

Войска шли по льду, в ужасных условиях, без горячей пищи, с ночёвками на снежном насте; конница Кульнева – впереди. Иногда возникали жуткие полыньи – и был риск утонуть в чёрной мертвящей воде, не добравшись до шведской земли.

Однако ж и удивление шведов при появлении из ледяной мглы русской армии было огромно. Десятитысячный шведский корпус тут же начал отходить...

В очередном деле Кульнев передал Давыдову казачью сотню. Русские брали остров Бено. В деревушке на острове засели пристрелявшиеся шведы, открывшие плотный огонь. Давыдов спешил свою сотню, доползли по-пластунски – и завершили дело в рукопашной.

Далее цитируем историка А.И.Михайловского-Данилевского – речь пойдёт о тех боях, где непосредственно участвовал Давыдов: «...Забирая пушки и пленных, Кульнев настиг арьергард шведов, которые, сосредоточась в Эккери, крайнем западном пункте Аландских островов, поспешно пустились через Аландсгаф к шведским берегам. У островка Сигналскара догнал арьергард их Кульнев, захватил с бою две пушки и 144 пленных и принудил шведского полковника Энгельбрехтена положить оружие, с 14 офицерами и 442 человеками нижних чинов. Бросая ружья, фуры, пороховые ящики, остальные войска неприятельские спаслись на шведский берег».

(Упомянутые две пушки взял именно Денис Давыдов с тридцатью казаками.)

«Остановя следование Багратионова корпуса на Аландских островах, главнокомандующий положил послать только конный отряд через Аландсгаф на шведский берег. Отряд сей, составленный из трёх эскадронов гродненских гусаров, лейб-уральской сотни и 400 донцов, поручили Кульневу...»

В ночь с 6 на 7 марта 1809 года Кульнев отдал гусарам приказ: «Бог с нами! Я перед вами, князь Багратион – за вами. В полночь, в 2 часа, собраться у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны – истинная награда, честь и слава бессмертная! Иметь с собою по две чарки водки на человека, кусок мяса и хлеба и по два гарнца овса. Море не страшно тому, кто уповает на Бога. Отдыхайте, товарищи!»

«Ночью выступил Кульнев, шёл восемь часов по следам шведов, через ледяные громады Аландсгафа, и – “ура!” раздалось в рядах его отряда, когда затемнели перед ними дикие утёсы шведских берегов. Изумлённые береговые отряды шведов не верили глазам своим, видя гарцевание казаков по льду морскому».

(Наверняка Давыдов гарцевал там в самом первом ряду, потому что именно он и командовал казаками.)

«Шведские егеря встретили Кульнева за версту от берега. С обыкновенными словами его: “С нами Бог!” гусары атаковали шведов с фронта; казаки бросились с флангов и понеслись в тыл неприятеля. Шведы были смяты, бежали, оставили пленными 86 человек и отстреливались из-за береговых утёсов и деревьев. Кульнев спешил уральцев и послал их перестреливаться, выстроил на льду спешенных гусаров и требовал сдачи прибрежного местечка Гриссельгама, уверяя, что сопротивление бесполезно, ибо сильный корпус русский идёт на Нортель, ближе к Стокгольму...»

(Не здесь ли Давыдов впервые задумается о том, что неприятеля можно напугать и обмануть – и подобным образом брать не только местечки, но и города?)

«Доверяя словам Кульнева, шведы прекратили бой и уступили местечко...»

Так русские вступили на шведскую землю – всего в ста верстах от Стокгольма, – и опять есть ощущение, что Давыдов был едва ли не первым, кто перешагнул со льда на берег.

В Гриссельгаме, на клочке чужой земли, бесстрашный авангард провёл два дня, пока им не передали с вестовым, что можно возвращаться назад.

В формулярном списке Давыдова отмечено, что за русско-шведскую кампанию он участвовал в десяти крупных битвах.

Кульнев несколько раз представлял его к наградам, а следом и сам Багратион написал отдельный рапорт в военную коллегию с просьбой наградить Давыдова св. Георгием IV класса.

Но за финскую ему ничего так и не дали; причины этой несправедливости неизвестны, так что и гадать не станем.

Давыдов мог бы осердиться за такое невнимание, но вместо этого с ледяной северной войны, толком не отдохнув, он перебрался на следующую, но уже жаркую – русско-турецкую.

Началась она с того, что подзуживаемые Наполеоном турки стали препятствовать российскому флоту ходить через Дарданеллы, а закончилось всё тем, что ввязавшаяся в конфликт Россия потребовала присоединения к ней Молдавии, Валахии, Бессарабии и, раз пошла такая крупная игра, независимости сербов от турецкого владычества.

Турок вновь поддерживали англичане.

Французов Давыдов видел в деле, шведов и финнов видел, а турок – ещё нет. 25 июля 1809 года вместе с Багратионом явился он в действующую армию.

14 августа главнокомандующий Молдавской армией Багратион двинет полки через Дунай.

Давыдов – его адъютант; 18 августа он в бою при взятии Мачина, 22 августа – в бою при взятии Гирсова, 4 сентября – в сражение под Рассеветою, где русские разбили 12-тысячный турецкий корпус. 10 октября у Татарицы – ещё одно сражение, с турецким визирем, – и снова победа после десятичасового боя.

В следующем году Багратиона на должности главнокомандующего замещает граф Николай Каменский. Подъезжает и генерал Кульнев, ему препоручают командование авангардом, куда направляют Давыдова, – и тот вновь оказывается в той же компании, что год назад в Финляндии и на краешке Швеции.

Перезимовав, русская армия снова бросается в бой. 5 мая в составе авангарда Кульнева Давыдов участвует в осаде крепости Силистрия, затем, по пути к крепости Шумла, – в бою с турецкой конницей, которая была рассеяна. В самой Шумле от 35-тысячного русского корпуса заперлись 40 тысяч турок. 10 и 11 июня крепость пытались взять, но безуспешно, однако за те бои Давыдов получил очередную свою награду: орден св. Анны с бриллиантами. Он был произведён в ротмистры и теперь исполнял обязанности бригад-майора в авангарде.

Совместное с Кульневым время боевое Давыдов назовёт в своей автобиографии «поучительным». В Молдавии, признается он, довелось ему закончить «курс аванпостной службы, начатой в Финляндии», и познать «цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою».

Хотя мы понимаем, что не из одних спартанских тягот состояла та служба.

Участник той кампании, офицер входившего в авангард 1-го егерского полка Михаил Петров пишет в своих воспоминаниях: «Между военных действий славного Кульнева были иногда часы, когда мы, адъютанты его, мечась с приказаниями по линиям атак и манёвров наших от пехоты к гусарам и от казаков к драгунам, соединялись у нашего почтенного, незабвенного начальника-героя, любезного всем Якова Петровича, поесть кашицы и шашлыков или попить с ним чайку, сидя у огонька вкруговую. Тут Денис Васильевич Давыдов острыми своими высказываниями изливал приятное наслаждение утомлённым душам нашим. Он пил, как следует калиберному гусару... для шутки любил выставлять себя “горьким”. Выпив поутру первую чашу, он, бывало, крехнет и поведёт рукою по груди и животу, качая головой медленно в наклон к груди; и как однажды Кульнев, давний друг его, спросил Давыдова: “Что, Денис, пошло по животу?”, он отвечал: “По какому уж тут животу идти, а по уголькам былого когда-то живота зашуршело порядочно”».

«На водку, – писал сам Давыдов про Кульнева, – он был чрезмерно прихотлив и потому сам гнал и подслащивал её весьма искусно. Сам также заготавливал разного рода закуски и был большой мастер мариновать рыбу, грибы и прочее, что дельвал он даже в продолжение войны, в промежутках битв и движений. “Голь на выдумки хитра, – говаривал он, потчуй

гостей, – я, господа, живу по-донкишотски, странствующим рыцарем печального образа, без кола и двора; потчую вас собственным стряпаньем и чем Бог послал...»»

Дабы разбавить вдруг создавшийся лирический настрой, скажем, что под Шумлой русская армия встала намертво; от жары начались повальные болезни – и потери шли хуже боевых; так что и пили офицеры часто с целью медицинской, изводя заразу в зачатке.

К тому же так отменно показавший себя в Финляндии 32-летний генерал от инфантерии граф Каменский на этой кампании вдруг явился самодуром, откровенно тиранившим войска и офицерский состав.

«Все, окружающие великого Могола, – писал о нём Денис Васильевич своему товарищу и родственнику генерал-майору Николаю Раевскому, – разбранены и ошельмованы по пяти раз на день... Маска спала, и остался человек. Да какой!»

Не сойдясь в характерах с новым главнокомандующим, Давыдов вернулся к Багратиону, стоявшему тогда в Житомире во главе 2-й Западной армии.

(Граф Каменский внезапно умер 4 мая 1811 года, Молдавскую армию возглавил Михаил Илларионович Кутузов и разнёс турецкую армию в прах; но уже без Давыдова.)

К стихам своим, как и прежде, Давыдов относился не всерьёз: за минувшие четыре года не напишет он и десятка стихотворений. У него иной раз спрашивали: отчего так? – в 1811 году он предельно просто объяснит причину:

На вьюке, в тороках, цевницу я таскаю,
Она и под локтём, она под головой;
Меж конских ног позабываю,
В пыли, на влаге дождевой...
Так мне ли ударять в разлаженные струны
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?
Пусть загремят войны перуны,
Я в этой песне виртуоз!

Перуны вскоре загремели, цевница (свирель) опять куда-то запропастилась; зато, говоря про виртуоза, Давыдов себя точно не перехвалил.

22 июня Наполеон обратился с воззванием к своей армии: «Воины! Вторая Польская война начинается. Первая кончилась при Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и вечную войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои. Она объявляет, что даст отчёт о поведении своём, когда французы возвратятся за Рейн, предав на её произвол союзников наших. Россия увлекается роком; да свершится судьба её!

Не думает ли она, что мы изменились? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Россия даёт нам на выбор бесчестье или войну, он несомнителен. Мы пойдём вперёд, перейдём Неман и внесём войну в сердце её. Вторая Польская война столько же прославит французское оружие, сколько и первая. Но мир, который мы заключим, будет прочен, и обеспечение уничтожит пятидесятилетнее гордое и неуместное влияние России на дела Европы».

(Последняя максима – звучит на все времена.)

Почему «вторая Польская»? По итогам Тильзитского мира на землях, отвоёванных у Пруссии, было создано Великое герцогство Варшавское. В 1809 году другая часть польских земель была отобрана Наполеоном у Австрии. Несмотря на то что французы покорили большую часть Европы, в случае с Польшей они воспринимали себя освободителями; даром что польская свобода полностью зависела теперь от власти Наполеона. Возврат части польских – точнее сказать, украинских и белорусских – земель, что отошли к России в результате разделов 1772-го и 1779 годов, теперь объявлялся причиной похода на Москву. Время от времени Европа демонстрирует подобное фарисейство в отношении России. Землям Украины

в этом смысле особенно везёт. Хотя истинная причина всё равно очевидна и даже не скрывается: «неуместное влияние» варварской России на дела европейских небожителей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.